Александр Грибоедов. Его жизнь и литературная деятельность

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- А. М. Скабичевский
  -
  - Глава I
  - Глава II
  - Глава III
  - Глава IV
  - Глава V
  - Глава VI
  - Глава VII
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19

А. М. Скабичевский
Александр Грибоедов. Его жизнь и литературная деятельность
Биографический очерк
С портретом Грибоедова, гравированным Геданом

Глава I
Предки и родители А. С. Грибоедова. – Среда, в которой он детство. – Влияние общества и семьи на склад его характера. – Домашнее образование Грибоедова и пребывание в Московском университете. – Влияние профессора Буле. – Первые литературные опыты

Родители Александра Сергеевича Грибоедова, как отец, так и мать, оба по происхождению Грибоедовы, принадлежали к одному и тому же старому дворянскому роду, вышедшему из Польши. Из старинных грамот видно, что царь Михаил Федорович наградил Михаила Ефимовича Грибоедова *«за евo многия службы»* царю Василию Ивановичу (Шуйскому), совершенные *«во нужное и во прискорбное время»*. Цари же Алексей Михайлович и Федор Алексеевич отличали Федора Ивановича Грибоедова, сына Яна Грымбовского, вызванного из Польши как сведущего законника для составления уложения.

Сергей Иванович, отец Александра Сергеевича, сын Ивана Федоровича, секунд-майор в отставке, был по всем данным личностью совершенно ничтожною, не имел голоса в семье, подчинялся во всем полновластной супруге и не играл поэтому никакой роли в жизни своего знаменитого сына. Неизвестно, где он получил образование, где служил, когда умер. Мы знаем только, что он не дожил до смерти сына. Мать же Александра Сергеевича, Настасья Федоровна, умерла в 1839 году, неутешно оплакивая до самой своей кончины нежно любимого сына.

А.С. Грибоедов родился в Москве 4 января 1795 года.

Московская улица. Гравюра Ф. Дюренфельда, конец XVIII в.

Еще и теперь сохраняется дом, где он родился и провел детство, на углу Новинского и Большого Девятинского переулков, фасадом на две улицы, двухэтажный, нижний этаж каменный, верхний – деревянный, оштукатуренный. В этом доме и проживало семейство Грибоедовых, имевшее кроме сына Александра дочь Марию, отличавшуюся замечательными музыкальными способностями, бывшую впоследствии замужем за Дурново. Квартал, в котором находился дом Грибоедовых, был своего рода московским Сен-Жерменским предместьем. Еще и теперь в этом квартале больше, чем где бы то ни было в Москве, барских домов-особняков, со старинными фасадами, фронтонами и львами на воротах, окруженных многочисленными службами. Здесь в старину было сосредоточие московского бомонда, старых столбовых дворянских семей, составлявших особый замкнутый мир, связанный узами родства, дружбы, лукулловских пиршеств, безумного мотовства и одуряющих сплетен. Нравы этой среды представляли ряд поразительных противоречий: здесь мирно уживалась надменная дворянская гордость и не знавшая пределов спесь рядом с подобострастным искательством и азиатским пресмыкательством. Нигде не замечался в такой степени, как здесь, «нечистый дух пустого, рабского, сонного подражанья», и нигде так беззаветно «не отдавали все в обмен на новый лад, и нравы, и язык, и старину святую». Но это не мешало господствовать здесь самому упорному староверству, ужасавшемуся малейших отступлений от принятого. Все было

сковано тупым коснением в родовых барских традициях, ненарушимых обычаях и приличиях, строгом местничестве и чинопочитании, наконец, в тех самых старых предрассудках, о которых Чацкий вопиет: «Порадуйтесь, не истребят ни годы их, ни моры, ни пожары!..»

В этой замкнутой среде были свои жрецы и хранители великосветского культа, те самые княгини Марьи Алексеевны, строгих приговоров которых боялись даже убеленные сединою и заслуженные Фамусовы. К числу таких законодательниц московского бомонда принадлежала и мать Грибоедова, Настасья Федоровна. Это была женщина заносчивая, тяжелого характера, всех в доме подчинявшая своей властной воле. Дворянская гордость ее тем более была беспредельна, что, не говоря уже о древности рода самих Грибоедовых, семья имела такую знатную родню, как князья Одоевские, Нарышкины, Римские-Корсаковы, графы Разумовские. Двоюродная же сестра Александра Сергеевича, Елизавета Алексеевна, была замужем за князем Варшавским, графом Паскевичем-Эриванским. Такое родство заставляло Настасью Федоровну всю жизнь – и свою собственную, и домочадцев – посвящать сохранению достоинства рода Грибоедовых. Оракулом для нее в этом отношении был брат ее Алексей Федорович Грибоедов, которого она считала образцовым представителем высшего общества и великим знатоком света и людей. Ничего не делала она без его совета, и слово его было для нее законом. Он предписывал и ей, и ее детям строгий режим светской жизни: с какими людьми знаться, каких избегать, каким сильным мира, которые могут пригодиться, делать визиты, кого приглашать или не приглашать на вечера, и т. п.

Москва. Дом, где Грибоедов жил в детские годы (ныне – Остоженка, 34)

Под гнетом этих двух непреклонных хранителей великосветских традиций и приличий нерадостную пришлось вести Грибоедову в родительском доме жизнь – жизнь, развившую в нем ту меланхолию и нервную раздражительность, которые он впоследствии обнаруживал. Пока еще тянулись золотые дни нежного детства, никто не мешал ему с сестрою «являться и исчезать тут и там, играть и шуметь по стульям и столам», но с годами все более и более тяготела над юношей светская дрессировка. Каждый шаг его, все повседневное поведение были подвержены строгому контролю и заключены в тесные рамки порядочности; вся будущая карьера была заранее предусмотрена и предопределена, дабы последняя отрасль древнего дворянского рода вполне поддержала достоинство его. А за матерью и дядей стояли сплоченные ряды родных и друзей, которые в свою очередь единодушно восставали против любого мало-мальски самостоятельного шага молодого человека и подавляли каждый смелый молодой порыв его. Все это с годами более и более раздражало и ожесточало богато одаренного Александра Сергеевича, и наконец он обрушил на все московское общество беспощадную месть свою в виде бессмертной комедии, которая являлась, таким образом, не досужим измышлением художественной фантазии, а кровным делом всей жизни.

Более же всех ожесточил Грибоедова дядя, которого

изобразил он в лице Фамусова. По рассказу С.Н. Бегичева, Грибоедов, как только замечал, что дядя въезжал к ним во двор, чтобы вести его на поклон к какому-нибудь князю Петру Ильичу, раздевался и ложился в постель. «Пойдем», – приставал дядя. «Не могу, дядюшка, то болит, другое болит, ночь не спал», – хитрил Грибоедов.

Вот в каком виде представляет он своего дядю в одном оставшемся после него черновом наброске:

«Вот характер, который почти исчез в наше время, но двадцать лет тому назад был господствующий, – характер моего дяди. Историку предоставляю объяснить, отчего в тогдашнем поколении развита была повсюду какая-то смесь пороков и любезности; извне – рыцарство в нравах, а в сердцах – отсутствие всякого чувства. Тогда уже многие дуэлировались, но всякий пылал непреодолимой страстью обманывать женщин в любви, мужчин – в карты или иначе; на службе начальник уловлял подчиненного в разные подлости обещаниями, которых не мог исполнить, покровительством, не основанным ни на какой истине; но зато как и платили их светлостям мелкие чиновники, верные рабы-спутники до первого затмения. Объяснимся круглее: у всякого была в душе бесчестность и лживость на языке. Кажется, ныне этого нет, а может быть и есть, но дядя мой принадлежит к той эпохе. Он, как лев, дрался с турками при Суворове, но потом пресмыкался в передних всех случайных людей в Петербурге, в отставке жил сплетнями. Образец его нравоучений: „Я, брат…“.

До какой степени сильно переживал Грибоедов семейный гнет, мы можем судить из того, что впоследствии, обретя свободу вполне самостоятельной жизни, Грибоедов в письмах к друзьям не перестает при всяком удобном случае протестовать против семейного деспотизма. Так, в письме к Бегичеву из Петербурга, от ноября 1816 года, он замечает: «Неужели заводчика корчишь? Перед кем скажи, пожалуй? У тебя нет матери, которой ты обязан казаться основательным: будь таким, каков есть». В письме же к князю Одоевскому из Киева, от 10 июня 1825 года (то есть когда ему было уже 30 лет), он пишет: «Верстовского обними за меня; здесь я узнал, что отец его перебрался на житье в Москву; что же, от этого лучше или хуже для музыки? Я почти уверен, что истинный художник должен быть человек безродный. Прекрасно быть опорою отцу и матери в важных случаях жизни, но внимание к их требованиям, часто мелочным и нелепым, стесняет живое, свободное, смелое дарование. Как ты об этом думаешь?»

Всего ужаснее, что в продолжение всей жизни он не мог, видимо, избавиться от семейной опеки и ей, как увидим ниже, был обязан своей преждевременной и ужасной смертью.

Первоначальное образование Грибоедов получил, как это водилось в то время во всех великосветских барских семьях, домашнее, под надзором иностранных гувернеров. Первым из них был Петрозилиус, человек ученый, впоследствии издавший обстоятельный каталог московской университетской библиотеки. В свое педагогическое ремесло он вносил слишком уж много педантизма, который оттолкнул от него живого и пытливого воспитанника. Петрозилиуса сменил Богдан Иванович Ион, прекрасный воспитатель, ставший со временем другом и советчиком Грибоедова. Каждый раз, когда последний приезжал в Москву, он первым делом искал увидеться с Ионом и его же избрал в секунданты для предполагавшейся дуэли с Якубовичем. После смерти Грибоедова старик Ион любил сходиться с другом покойного Бегичевым, вспоминать добрые старые дни, и при этом слезы показывались на глазах собеседников.

Под общим руководством Иона, по специальности юриста, обладавшего основательным знанием классических языков, мальчик обучался дома у разных преподавателей, по-видимому, очень хороших, между которыми были профессора университета. Так, например, Иоганн Теофил Буле преподавал Грибоедову философские и политические науки. Рано овладел юноша несколькими иностранными языками и начал изучать древних и новых классиков; вместе с тем приобрел он навык к усидчивым ученым исследованиям, поражающим в его записных тетрадях и свидетельствующим, что из него мог выработаться серьезный ученый.

Н.В. Сушков, соученик Грибоедова по Благородному пансиону, поэт. Гравюра А. Муратова, 1852

Между прочим дом Грибоедовых славился своими музыкальными вечерами; здесь можно было слышать серьезную музыку в исполнении лучших московских артистов. Это содействовало развитию музыкального вкуса в детях, и они уже в детстве сделались хорошими пианистами. Музыка в продолжение всей жизни была любимейшим наслаждением Грибоедова. Войдя в кружок молодых русских музыкантов: Алябьева, Верстовского и других, – он овладел впоследствии под руководством петербургского профессора гармонии Иоганна Миллера теорией музыки и сделался знатоком ее законов. Не ограничиваясь одним исполнением чужих пьес, Грибоедов по целым часам увлекал окружавших своими дивными импровизациями.

Джон Фильд, композитор и пианист, учитель музыки Грибоедова и его сестры. Гравюра А. Янова, 1800-е гг.

А.А. Алябьев, композитор. Неизвестный художник, 1830-е гг.

Закончив домашнее обучение в 1810 году, в 15 лет, он был помещен в Московский университет на этико-политический факультет для приобретения кандидатского диплома в видах более успешной служебной карьеры. А чтобы оградить юношу от дурного общества товарищей, не принадлежавших к избранному кругу, Грибоедов был определен вольнослушателем и ходил в университет не иначе, как с гувернером.

Московский университет того времени далеко еще не находился в таком блестящем состоянии, как в тридцатые и сороковые годы, но в нем было несколько достойных специалистов, ветеранов западной науки, верных преданиям просветительного века. Таковыми являлись, кроме вышеупомянутого Буле, Гейм, Рейнгард, Шлёцер, из русских – Сохацкий, Снегирев, Спешнев, Страхов. Профессора называли студентов друзьями, принимали их у себя на дому, входили во все мелочи их жизни и помогали чем могли. Страхов на Святках руководил студенческими спектаклями, и очень возможно, что этим спектаклям был обязан Грибоедов пламенной любовью к театру, которая не охладела в продолжение всей его жизни и определила форму его литературной деятельности.

А.Ф.Мерзляков, профессор российской поэзии и красноречия Московского университета. Гравюра К.Я. Афанасьева, первая четверть XIX в.

М.Т. Каченовский, профессор русской истории Московского университета. Гравюра Г. Грачева

И.А. Гейм, профессор древностей, словесности и истории Московского университета. Гравюра А. Флерова с оригинала И.И. Жерена, первая четверть XIX в.

О своем пребывании в университете Грибоедов всю жизнь сохранял самые отрадные воспоминания, и следы влияния многих профессоров долго сказывались в нем. В это время полюбил он изучение русской истории и познакомился со статистикой и политической экономией, что отразилось впоследствии на заботах Грибоедова о составлении статистических таблиц и описаний Кавказа. Более же всего сознавал себя обязанным Грибоедов Буле, влияние которого на юношу было тем более сильно, что он давал ему уроки еще до университета. Пользуясь почетной ученой репутацией на Западе, где он был профессором в Геттингене, Буле в Москве, не ограничиваясь университетским преподаванием, читал публичные лекции, курсы философии, устраивал у себя на дому на немецкий лад privatissimi[1] и, сверх того, выпускал несколько периодических изданий, между прочим «Журнал изящных искусств». Поклонник Аристотеля, он любил в своих рассуждениях трактовать о сущности и основах драмы, давая Грибоедову возможность теоретического изучения этого

рода поэзии, к которому юноша чувствовал склонность. Особенно же предпочитал Буле комедию и целое сочинение посвятил душевной веселости и средствам поддерживать и развивать ее. Как истый ложноклассик образцы искал он в классических литературах, и Грибоедов вслед за ним с любовью относился к древним комикам, особенно к Плавту. Ложноклассическая закваска, приобретенная под влиянием Буле, сказывалась впоследствии не только на литературных взглядах и пристрастиях Грибоедова, но заметна и в самой комедии «Горе от ума», в которой строго соблюдены автором все три единства: действие ее сосредоточивается в одном месте (дом Фамусова) и совершается в течение одних суток, начинаясь появлением Чацкого в доме Фамусова рано утром и кончаясь разъездом после бала поздним вечером.

Университетские годы – время первых литературных опытов Грибоедова. Нередко читал он своим товарищам стихи собственного сочинения, большей частью сатиры и эпиграммы. Однажды же, в начале 1812 года, он прочел своему воспитателю Иону и одному из товарищей отрывки из комедии, и, по словам слушателей его, это были уже первые наброски комедии «Горе от ума». Недружелюбно были встречены матерью Грибоедова его первые литературные опыты. Она, конечно, боялась, что увлечение литературой оттолкнет юношу от предначертанной карьеры, звание же литератора и стихотворца представлялось чем-то крайне унизительным с точки зрения московского великосветского кодекса. Но не только в университетские годы, а и впоследствии мать Грибоедова не иначе как с презрением отзывалась о литературных занятиях сына и срамила его в присутствии посторонних. Так, в письме к Бегичеву из Воронежа, от 18 сентября 1818 года, Грибоедов между прочим пишет: «В Петербурге я по крайней мере имею несколько таких людей, которые, не знаю, настолько ли меня ценят, сколько, я думаю, этого стою, но по крайней мере судят обо мне и смотрят с той стороны, с которой хочу, чтобы на меня смотрели. В Москве совсем другое: спроси у Жандра, как однажды за ужином матушка с презрением говорила о моих стихотворных занятиях и еще заметила во мне зависть, свойственную мелким писателям, оттого, что я не восхищаюсь Кокошкиным и ему подобными…»

Глава II
Поступление в ополчение и гусарский полк. – Кутежи и шалости. – Дружба с С.Н. Бегичевым и ее благотворное влияние. – Комедия «Молодые супруги». – Приезд Грибоедова в Петербург и отставка. – Успехи в свете. – Физические, умственные и нравственные качества Грибоедова. – Литературные знакомства. – Сценическая деятельность. – Полемика. – Мировоззрение Грибоедова. – План драмы из 1812 года. – Наброски комедии «Горе от ума»

Война 1812 года, создавшая полный удали, отваги, предприимчивости и жажды сильных ощущений тип людей двадцатых годов, немало содействовала эмансипации от семейной опеки молодых людей великосветских слоев общества. Священная обязанность защищать отечество избавляла их от необходимости против воли, по принуждению старших гнуть шею перед разными милостивцами и глотать канцелярскую пыль ради устройства карьеры, а главное, выводила из родного гнезда на простор самостоятельной жизни.

К числу таких юношей принадлежал и Грибоедов. Двух лет слушания университетских лекций было достаточно, чтобы выдержать экзамен на кандидата с правом на чин двенадцатого класса. Когда же правительство обратилось к студентам Московского университета с призывом вступать в ополчение, Грибоедов не мог не увлечься общим патриотическим одушевлением. Впрочем, и тут сказалось влияние его родных: не

в простое, серое ополчение поступил он, а корнетом в один из полков, формировавшихся в то время аристократами, именно в гусарский полк графа Салтыкова. Это было 26 июля. Полк собирался и снаряжался крайне медленно, а за смертью Салтыкова был совсем распущен.

Н.И. Толстой, сослуживец Грибоедова по Московскому полку. Неизвестный художник. 1820-е гг.

Но раз роковой шаг был сделан, Грибоедов не хотел уже более возвращаться под ферулу матери и дяди и 7 декабря поступил в Иркутский гусарский полк, стоявший в составе резервного кавалерийского корпуса первоначально в Могилеве, потом в Слониме и наконец в Бресте. Здесь служил он под начальством А.С. Кологривова.

После каждого чрезмерного стеснения следует реакция некоторой необузданности. Естественно, что и у молодого семнадцатилетнего гусара закружилась голова, когда он почувствовал, что ни перед кем уже не обязан надевать личину степенности и основательности. Этим и объясняется то обстоятельство, что, бросившись со всем пылом первой юности в гусарские кутежи и прочие шумные развлечения и излишества,

Грибоедов старался превзойти товарищей в подчас не совсем благовидных проказах и шалостях, которыми отличались гусары того времени. Так, однажды он въехал верхом во второй этаж дома на бал. В другой раз в Бресте он взобрался на хоры католического костела перед самым началом службы. Ноты перед органом были раскрыты. Собрались монахи, началась служба. Когда потребовалась по ходу службы музыка, Грибоедов заиграл и играл долго и отлично. Вдруг священные звуки смолкли и с хоров раздался, к ужасу и смущению всех молящихся, «камаринский».

Но этот кризис продолжался недолго. Грибоедов имел слишком даровитую и глубокую натуру, чтобы гусарские кутежи и шалости могли долго занимать его и составлять все содержание его жизни. К тому же судьба послала ему друга в лице адъютанта генерала Кологривова, Степана Никитича Бегичева. Грибоедов нашел в нем умного, приятного собеседника и руководителя, который, подчинив юношу своему благотворному влиянию, сумел и остепенить его, и разбудить в нем все лучшие качества его души. По крайней мере, вот что сам Грибоедов говорит о влиянии своего друга в письме от 18 сентября 1818 года:

«Ты, мой друг, поселил во мне или, лучше сказать, развернул свойства, любовь к добру, и с тех пор только я начал дорожить честностью и всем, что составляет истинную красоту души, с того времени, как с тобою познакомился, и – ей Богу! – когда с тобою несколько побываю вместе, становлюсь нравственно лучше, добрее».

Нет ничего удивительного в том, что Грибоедов в продолжение всей жизни питал к Бегичеву самые нежные чувства. Под влиянием друга он начинает смотреть иными глазами на все его окружавшее; товарищей-собутыльников, которых прежде Грибоедов старался превзойти во всех их излишествах, теперь он называет уже «казарменными готтентотами»; жизнь среди них делается ему невыносима. Он снова принимается за прерванные литературные занятия, и в 1814 году впервые появляются в печати, на страницах «Вестника Европы», две его статьи: «О кавалерийских резервах» и «О празднике, данном генералу Кологривову его офицерами». В описании праздника помещены были и стихи патриотического содержания. Пир, судя по описанию, был гомерический и обошелся учредителям в 10 тысяч рублей ассигнациями; причем надо отдать справедливость великодушию разгулявшихся гусаров: они не забыли собрать при этом тысячу рублей для раздачи бедным, пострадавшим при пожаре Москвы, и деньги эти Грибоедов при своей статье препроводил от лица всех товарищей в редакцию «Вестника Европы».

В том же 1814 году Грибоедов познакомился с князем Александром Александровичем Шаховским, который тоже служил в военной службе. Беседы с этим любителем и знатоком сцены вновь пробудили в Грибоедове страсть к театру, и он решился испытать свои силы на поприще драматургии. Среди немногочисленных служебных занятий, оставлявших ему много свободного времени, перевел он с французского стихами, переделав ее и дав ей заглавие «Молодые супруги», небольшую комедию Лессера «Le secret du menage». Комедия была переведена теми тяжелыми, шероховатыми шестистопными ямбами, какими писались у нас трагедии в XVIII и начале XIX веков и которые ничем не напоминали легкого разговорного стиха «Горя от ума». От самих имен действующих лиц: Арист, Эльмира, Сафир, – веет на вас ложноклассическим архаизмом.

Как нельзя более естественно, что после совершившегося с Грибоедовым переворота и пребывание в Бресте, и гусарское общество, и военная служба сделались невыносимыми для молодого человека. В 1815 году он, взяв отпуск, приехал в Петербург, а 25 марта 1816 года и совсем вышел в отставку.

Россия в этот момент только что успела опомниться от многолетних войн и ликовала, гордясь ролью освободительницы Европы. Во всех слоях общества чувствовался сильный подъем духа, и особенно было оживлено петербургское великосветское общество. Оно представляло тогда средоточие умственной жизни страны, и наиболее в этом отношении отличалась гвардейская молодежь, которая, утомясь многолетними тяжкими походами и в то же время воодушевленная яркими впечатлениями, вынесенными из созерцания западноевропейской жизни, с усердием принялась за разработку общественных и литературных вопросов, причем особенно притягивала ее тогда драматическая сцена. Многие гвардейские офицеры писали и переводили для театра и принимали горячее участие во всем, что совершалось как за кулисами, так и на сцене. По вечерам собирались приятельские кружки, в которых читались произведения лучших драматургов, русских и иностранных, и велись горячие споры о сценическом искусстве, игре актеров и т. п. Таков был кружок Павла Александровича Катенина, мнениями которого как тонкого и опытного знатока дорожили начинающие авторы, наперерыв читавшие ему первые свои произведения. Другой театральный кружок сосредоточивался вокруг А.А. Шаховского, покровителя сценических талантов, обогащавшего сцену своими переводами и переделками в соответствии с русскими нравами французских пьес. Кружок этот состоял преимущественно из престарелых классиков, относившихся к молодежи свысока, с

покровительственной улыбкой. Друзья и приятели Шаховского не чуждались закулисных интриг и в суждениях своих, особенно об актрисах, не могли похвастаться беспристрастием. Приехав в Петербург, Грибоедов со всем пылом двадцатилетнего юноши бросился в вихрь светской жизни и всевозможных столичных развлечений. В значительной степени обузданный Бегичевым в Бресте, он все-таки порою увлекался бешеным повесничеством, например однажды в театре начал аплодировать по лысине впереди сидевшего соседа. Подобное поведение обеспечивало ему успех среди женщин и великосветских, и сценических, и романические приключения в это время у него не переводились. Впрочем, не одной репутации отчаянного шалуна и дуэлиста был обязан он этим успехом, а также и своими качествами, как внешними, так и внутренними. Приятная, выразительная наружность соединялась в нем с изяществом манер, ловкостью, уменьем мастерски ездить верхом, замечательно метко стрелять из пистолета. Свободно изъяснявшийся на четырех языках, всесторонне образованный, Грибоедов мог поддержать разговор, каких бы он ни касался вопросов: научных, художественных, политических. Мы уже имели случай говорить о его музыкальных импровизациях, увлекавших общество до самозабвения. Любезность, остроумие, искренность его обаятельно действовали на всех друзей и знакомых. Бее современники отзываются о нем не иначе как с восторгом. «Его нельзя было любить иначе, – свидетельствует Булгарин, – как страстно, с энтузиазмом, потому что пламенная душа его согревала и воспламеняла все вокруг себя. С Грибоедовым благородный человек делался лучше, благороднее; его привязанность к другу, внимание, искренность, светлые мысли, высокие чувствования переливались в душу и зарождали ощущение новой, сладостной жизни. Его голос, взгляд, улыбка, приемы имели какую-то необыкновенную прелесть; звук голоса его проникал в душу, убеждение лилось из уст…»

Почти то же самое говорит К.А. Полевой:

«Красноречие А.С. Грибоедова, всегда пламенное, было убедительно потому, что основывалось на здравом смысле и глубокой учености. Трудно было не согласиться с ним во мнении. Он имел особенный дар, как все необыкновенные люди, убеждать и привлекать сердца. Знать его было то же, что любить. Более всего привязывало к нему его непритворное добродушие, которое при необыкновенном уме действовало на сердце, как теплота на природу…»

А вот что говорит Пушкин, познакомившийся с Грибоедовым в 1817 году:

«Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его

добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, – все в нем было необыкновенно привлекательно».

Грибоедов был привлекателен несмотря даже на то, что при своем озлобленном уме, независимом, гордом характере, доходившем порою до заносчивости, он, пренебрегая всеми стеснительными условиями светской жизни, резал всем в глаза самую горькую и резкую правду, не разбирая при этом чинов и положений. Вот что вспоминает об этом А.А. Бестужев:

«Обладая всеми светскими выгодами, Грибоедов не любил света, не любил пустых визитов или чинных обедов, ни блестящих праздников так называемого лучшего общества. узы ничтожных приличий были ему несносны потому уже, что они – узы. Он не мог и не хотел скрывать насмешки над позлащенною и самодовольною глупостью, ни презрения к низкой искательности, ни негодования при виде счастливого порока. Кровь сердца всегда играла у него в лице. Никто не похвалится его лестью; никто не дерзнет сказать, будто слышал от него неправду. Он мог сам обманываться, но обманывать – никогда. Твердость, с которою он обличал порочные привычки, несмотря на знатность особы, показалась бы иным катоновскою суровостью, даже дерзостью; но так как видно было при этом, что он хотел только извинить, а не уколоть, то нравоучение его, если не производило исправления, по крайней мере не возбуждало и гнева».

Но не для одних только светских развлечений приехал Грибоедов в Петербург. Его влекла к себе литература, и он не замедлил завести несколько литературных знакомств. Так, кроме А.А. Шаховского, он сблизился с Катениным, Булгариным и Гречем (последние в то время пользовались еще порядочной репутацией в литературных кружках, и дружба с ними не могла казаться столь предосудительной, как впоследствии). На первых порах своего пребывания в Петербурге Грибоедов познакомился также с Николаем Ивановичем Хмельницким и Андреем Андреевичем Жандром, с которым оставался связанным узами дружбы до самой кончины. Несколько позже, в 1817 году, Грибоедов познакомился с В.К. Кюхельбекером и Пушкиным. Кюхельбекер (особенно впоследствии, на Кавказе) горячо полюбил Грибоедова и благоговел перед ним. Пушкин, как мы видели, по достоинству оценил его; тем не менее, встречаясь в обществе, они разменивались шутками, остротами, но не сходились коротко, и причина этого лежала, по всей вероятности, в том, что они принадлежали к разным лагерям.

Грибоедов стоял в стороне от того литературного течения, которое преемственно привело от сентиментализма Карамзина к романтическому пиетизму Жуковского и реализму Пушкина.

Воспитанный в духе ложного классицизма и сблизившийся с такими приверженцами классицизма, как Шаховской и Катенин, Грибоедов в первые годы своей литературной деятельности заявил себя в оппозиции и к сентиментализму Карамзина, и к романтизму Жуковского, чем, конечно, и объясняется холодность, с какою отнеслись к нему Пушкин и весь его кружок.

Привезя с собой из Бреста комедию «Молодые супруги», Грибоедов увидел ее на сцене 29 сентября 1815 года, в бенефис Семеновой-младшей. Комедия была разыграна удачно, и ободренный успехом Грибоедов в сотрудничестве с Шаховским, Хмельницким и Жандром перевел комедию Барта «Притворная неверность», поставленную на сцене в феврале 1817 года; 24-го же января 1818 года, в бенефис г-жи Вальберховой, была представлена комедия «Своя семья», в которой пять сцен второго действия принадлежали Грибоедову.

Одновременно с этой сценической деятельностью Грибоедов увлекся той задорной полемикой, какая существовала в журналистике того времени, определяясь не столько принципами, сколько кружковой враждою и игрой личных самолюбий. Так, друг Грибоедова Катенин, несмотря на свою приверженность к классицизму, перевел романтическую балладу Бюргера «Ленора», переделав ее в соответствии с русскими нравами: героиню назвал Ольгою, место действия из Богемии перенес под Полтаву, преобразив эпоху Семилетней войны в 1709 год. Тяжелые стихи Катенина не понравились Н.И. Гнедичу, и он, под псевдонимом «Житель Тентелевой деревни», отозвался в № 24 «Сына отечества» за 1816 год о переводе Катенина неблагосклонно. Грибоедов вступился за друга и – такова была наивность того времени – в том же «Сыне отечества», в № 30, разразился резкою антикритикой, представляющей остроумную пародию на господствовавшую в то время в нашей литературе критику, основанную на одних придирках к мелочам.

В следующем году М.Н. Загоскин, разбирая в № 15 «Северного наблюдателя» представление комедии Грибоедова «Молодые супруги», указал на несколько плохих стихов и заметил о них словами «Мизантропа»:

> «Такие, граф, стихи
> Против поэзии суть тяжкие грехи!»

Грибоедова задела за живое критика Загоскина, которого он очень недолюбливал, и он отвечал ядовитой сатирой под заглавием «Лубочный театр».

При всем желании автора стихи эти не были в свое время

напечатаны, но Грибоедов распространил их сам во множестве списков. Возбужденные задором всей этой полемики Грибоедов и Катенин написали совместно комедию «Студент», в которой полемика перешла уже на чисто принципиальную почву. Пьеса эта, в лице студента Беневольского, личности крайне комической, осмеивает сентиментализм, который господствовал в то время среди молодежи под влиянием повестей Карамзина и стихотворений Жуковского. Беневольский, самой своей фамилией напоминающий Загоскина, подписывавшегося в «Северном наблюдателе» псевдонимом *Ювенал Беневольский,* разражается тирадами, почти целиком взятыми из Карамзина, Жуковского и Батюшкова. Комедия эта вследствие прозрачных намеков на личности не могла явиться ни в печати, ни на сцене. Но нет сомнения, что в рукописи она была предъявлена врагам, против которых предназначалась, то есть членам «Арзамаса», и понятно, что обстоятельство это еще более отдалило Грибоедова от Пушкина и его друзей.

Но не следует думать, чтобы Грибоедов, примкнув к ложноклассическому лагерю, был с головы до ног ложноклассиком и питал к романтизму слепую и ожесточенную ненависть. Он принадлежал к тем гениальным умам, которые идут своей самостоятельной дорогой и бывают чужды каких бы то ни было односторонних увлечений, существующих в их время. Относясь критически ко всем учениям и лагерям, они из каждого заимствуют только то, что находят в данном учении наиболее рационального и живого, но этот выбор делает их не эклектиками, а скорее синтетиками. Так, несмотря на то, что Грибоедову претила в романтиках «Арзамаса» их приторная сентиментальность, он и к своим партизанам[2] – ложноклассикам – относился столь же полемически, и Р. Зотов, конечно, имел основание в своих театральных воспоминаниях заметить, что «Катенин был всегда противником в спорах Грибоедова, *который держался романтизма,* а Катенин был страстный фанатик французского классицизма».

Итак, тот же Грибоедов, который разыгрывал роль классика в глазах членов «Арзамаса», напротив, казался романтиком своим друзьям-классикам. Но романтизм Грибоедова имел совершенно особенный характер. Это был отнюдь не тот заимствованный из Германии и Англии романтизм, которым пробавлялись наши молодые романтики и который благодаря этой своей подражательности стоял в логическом противоречии с сущностью романтического движения в Европе, так как во всех европейских литературах романтизм представлял собою не какое-либо новое заимствование, а, напротив, возвращение к народной

самобытности. Грибоедов так именно и понимал романтизм в его философской сущности.

Этим своим пониманием романтизма как стремления к народной самобытности он был обязан, конечно, особенному кружку людей, задававшихся уже в то время мыслями о несовершенствах общественной жизни и о необходимости серьезных преобразований. Желая заплатить дань всем веяниям своего времени, Грибоедов не мог ограничиться одними чисто литературными интересами, и в 1816 году имя его значится в списке масонской ложи «Des amis réunis» рядом с именами Чаадаева, Норова, Пестеля. В то же время сблизился он с Александром Одоевским, который, охраняя его от всяких уклонений в сторону, заменял ему Бегичева в качестве укротителя его страстных порывов.

Вот под влиянием этих-то людей он и проникся романтизмом народной самобытности, романтизмом, проявившимся в виде страсти к изучению отечественной истории, народной поэзии и русской старины и оппозиции против слепой подражательности западноевропейским образцам, в какой коснело наше общество со времен Петра. В известном монологе Чацкого на балу у Фамусова это настроение Грибоедова рельефно выражается в страстном желании:

Чтоб истребил Господь нечистый этот дух
Пустого, рабского, слепого подражанья;
Чтоб искру заронил он в ком-нибудь с душой,
Кто б мог бы словом и примером
Нас удержать, как крепкою вожжой,
От жалкой тошноты по стороне чужой.
Пускай меня объявят старовером,
Но хуже для меня наш Север во сто крат
С тех пор, как отдал все в обмен на новый лад,
И нравы, и язык, и старину святую,
И величавую одежду на другую
По шутовскому образцу.

Ф. Булгарин в статье «Литературные призраки», напечатанной им в «Литературных листках» за 1824 год (ч. III, август, № XVI), выставил между прочим под именем Талантина Грибоедова и заставил его порицать одного из тех невежественных поэтов, которые воображали, что для них нет ни малейшей надобности ни в каких науках, а достаточно одного природного таланта. Доказывая такому поэту необходимость образования и учения, чтобы достигнуть чего-либо в искусстве,

Талантин между прочим предлагает ему целую программу научных занятий, – и есть основание думать, что Булгарин изложил эту программу со слов самого Грибоедова. Недаром последний настолько рассердился на Булгарина за амикошонское разоблачение интимных бесед, равно как и за подобострастную лесть, которой не терпел, что разразился полным негодования письмом следующего содержания:

«Милостивый государь, Фаддей Бенедиктович, тон и содержание этого письма покажутся вам странны, что же делать?! Вы сами тому причиной. Я долго думал, не решался, наконец принял твердое намерение – объявить вам истину, il vaut mieux tard, que jamais.[3] Признаюсь, мне самому жаль, потому что с первого дня нашего знакомства вы мне оказали столько ласковостей; хорошее мнение обо мне я в вас почитаю искренним. Но, несмотря на все это, не могу далее продолжать нашего знакомства. Лично не имею против вас ничего; знаю, что намерение ваше было чисто, когда вы меня, под именем Талантина, хвалили печатано и, конечно, не думали тем оскорбить. Но мои правила, правила благопристойности и собственное к себе уважение не дозволяют мне быть предметом похвалы незаслуженной или во всяком случае слишком предускоренной. Вы меня хвалили как автора, а я именно как автор ничего не произвел истинно изящного. Не думайте, чтобы какая-нибудь внешность, мнение других людей меня побудили к прерванию с вами знакомства. Верьте, что для меня моя совесть важнее чужих пересудов; и смешно бы было мне дорожить мнением людей, когда всемерно от них удаляюсь. Я просто в несогласии сам с собою: сближаясь с вами более и более, трудно самому увериться, что ваши похвалы были мне не по сердцу, боюсь поймать себя на какой-нибудь низости, не выкланиваю ли я еще горсточку ладана!

Расстанемтесь. Я бегать от вас не буду, но коли где встретимся, то без приязни и без вражды. Мы друг друга более не знаем. Вы верно поймете, что, поступая, как я теперь, не сгоряча и по весьма долгом размышлении, не могу уже ни шагу назад отступить. Конечно, и вас чувство благородной гордости не допустит опять сойтись с человеком, который от вас отказывается. Гречу объясню это пространнее… а может быть и нет, как случится. Прощайте. Я об вас всегда буду хороших мыслей, даже почитаю долгом отзываться об вас с благодарностью. Вы обо мне думайте, как хотите. Милостивый государь, ваш всепокорнейший А. Грибоедов».

При всей решительности тона этого письма размолвка Грибоедова с Булгариным была непродолжительна и от нее в

скором времени не осталось и следа. Во всяком случае считаем нелишним привести целиком программу Талантина, в которой, без сомнения, скрывается план научных занятий самого Грибоедова.

«Чтобы совершенно постигнуть дух русского языка, надобно читать священные и духовные книги, древние летописи, собирать народные песни и поговорки, знать несколько соплеменных славянских наречий, прочесть несколько славянских, русских, богемских и польских грамматик и рассмотреть столько же словарей; знать совершенно историю и географию своего отечества. Это *первое и необходимое условие.* После того для роскоши и богатства советую прочесть Тацита, Фукидида, если возможно – Робертсона, Юма, Гиббона и Миллера. Не худо также познакомиться с новыми путешественниками по Индии, Персии, Бразилии, Северной Америке и островам Южного океана. Это освежит ваше воображение и породит новые идеи о природе и человеке. Весьма не худо бы прочесть первоклассных отечественных и иностранных поэтов, с критическими разборами, и по крайней мере из древних – Гомера, Вергилия, Горация, Гесиода и древних трагиков. Не говорю о восточных языках, которых изучение чрезвычайно трудно и средств весьма немного. Но все не худо ознакомиться несколько с «Восточными рудниками» Гаммера («Fundgruben des Orient's») или перевернуть несколько листов в Гербелоте, в хрестоматии Сильвестра-де-Саси, в «Азиатических изысканиях калькуттского ученого общества» («Asiatic Researches») и в «Назидательных письмах о Китае» («Lettres édifiantes etc.»). Восток, неисчерпаемый для освещения пиитического воображения, тем занимательнее для русских, что мы имели с древних времен сношения с жителями оного. Советую вам иногда заглядывать в сочинения, и особенно в журналы, по части физических наук, чтоб не повторять рассказов нянюшек о естественных явлениях в природе и не принимать летучего огня за привидение».

Во исполнение этой программы Грибоедов среди литературных занятий и светских развлечений находил время заниматься греческим языком, как он об этом пишет в письме к Катенину от 19 октября 1817 года:

«Прощай, сейчас иду со двора: куда ты думаешь? Учиться по-гречески. Я от этого языка с ума схожу, каждый божий день с 12-ти до 4-х часов учусь и уже делаю большие успехи. По мне, он не труден».

Но стремление Грибоедова к самобытности отнюдь не имело славянофильского характера. Ратуя против поверхностной и слепой подражательности, он в то же время сочувствовал тем

новым идеям и формам жизни, которые в то время составляли последнее слово европейской цивилизации, и лишь требовал рационально-критического, самостоятельного отношения к ним. В то же время чужд был Грибоедов и ходульного квасного патриотизма, о чем может свидетельствовать план драмы из 1812 года, уцелевший в его бумагах.

Так, в драме, в то время как народ – и между другими герой пьесы М., ополченец из крепостных, – грудью встает за отечество в рядах всеобщего ополчения без дворян, о последних говорится:

Когда слыла веселою Москва,
Они роились в ней. Палаты их
Блистали разноцветными огнями…
Теперь, когда у стен ее враги,
Бесчастные[4] рассыпалися дети,
Напрасно ждет защитников; сыны,
Как ласточки, вспорхнули с теплых гнезд
И предали их бурям в расхищенье…

Наполеон в Кремле размышляет «о юном первообразном сем народе, об особенностях его одежды, знаний, веры, нравов: *«Сам себе преданный, что бы он мог произвести?»*

В эпилоге М., несмотря на все свои бранные подвиги, терпит пренебрежение начальников и отпускается восвояси с отеческими наставлениями в покорности и послушании.

В последней картине эпилога должны были изображаться село или развалины Москвы. «Прежние мерзости. М. возвращается под палку господина, который хочет ему сбрить бороду. Отчаяние и самоубийство».

В то же время патриотизм Грибоедова имел чисто народнический характер негодования и сетования на ту отчужденность, которая замечалась между интеллигенцией и низшим классом и которая делала их словно двумя различными народностями.

Так, гуляя однажды с приятелями в Парголове в Шуваловском парке, он набрел на толпу крестьянских девушек и парней, распевавших народные песни… «Прислонясь к дереву, – рассказывает он в отрывке оставшегося в его бумагах чернового письма, неизвестно кому адресованного, – я с голосистых певцов невольно перевел свои глаза на самих слушателей-наблюдателей, тот поврежденный класс полуевропейцев, к которому и я принадлежу. Им казалось дико все, что они слышали, что видели: их сердцам эти звуки невнятны, эти наряды для них странны. Каким черным волшебством сделались мы чужие между своими!

Финны и тунгусы скорее приемлются в наше собратство, становятся выше нас, делаются нам образцами, а народ единокровный, наш народ разрознен с нами – и навеки! Если бы каким-нибудь случаем сюда занесен был иностранец, который бы не знал русской истории за целое столетие, он конечно бы заключил из резкой противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племен, которые не успели еще перемешаться обычаями и нравами».

А вот что по поводу народолюбия Грибоедова говорит Булгарин:

«А. С. Грибоедов любил простой народ и находил особенное удовольствие в обществе образованных молодых людей, не испорченных еще искательством и светскими приличиями. Любил он ходить и в церковь. „Любезный друг! – говорил он. – Только в храмах божиих собираются русские люди; думают и молятся по-русски. В русской церкви я – в отечестве, в России! Меня приводит в умиление мысль, что те же молитвы читаны были при Владимире, Дмитрии Донском, Мономахе, в Киеве, Новгороде, Москве; что то же пение одушевляло набожные души. Мы – русские только в церкви, а я хочу быть русским“.

Все это показывает нам, как серьезны были мысли Грибоедова среди светских дурачеств, закулисных приключений и вздорной кружковой полемики. Нет ничего удивительного, что в этом настроении, не довольствуясь переводными комедиями, он снова принялся за обработку своего кровного труда – той комедии, которая обессмертила его имя. В 1816 году, по свидетельству Бегичева, у него было уже набросано несколько сцен «Горя от ума», которые он показывал друзьям. От этих набросков ничего не сохранилось. В общих чертах план пьесы был сходен с планами ее позднейшей редакции, но роль Чацкого была еще далеко не выяснена. Репетилов не значился в числе действующих лиц, зато присутствовало несколько лишних персонажей (например, жена Фамусова, сентиментальная модница и аристократка), которые впоследствии были исключены из комедии.

В бумагах Грибоедова найден был черновой набросок, в котором он пишет: «Первое начертание этой сценической поэмы, как оно развилось во мне, было гораздо великолепнее и высшего значения, чем теперь, в суетном наряде, в который я принужден был облечь его. Ребяческое удовольствие слышать стихи мои в театре, желание им успеха заставили меня портить мое создание, сколько можно было… Такова судьба всякого, кто пишет для сцены: Расин и Шекспир подверглись той же участи: так мне ли роптать?»

Подразумевал ли Грибоедов под «первым начертанием» своей

сценической поэмы именно работу над ней 1816 года, об этом мы не имеем никаких сведений.

Глава III
Участие в дуэли Шереметева с графом Завадовским. – Определение переводчиком в персидскую миссию. – Путешествие из Петербурга в Тифлис. – Дуэль с Якубовичем. – Путешествие из Тифлиса в Тегеран и далее в Тавриз. – Служебная деятельность Грибоедова. – Жизнь в Тавризе. – Вновь работа над комедией «Горе от ума»

Но не более трех лет наслаждался Грибоедов независимою, привольною и вместе с тем полною захватывающих умственных интересов жизнью в Петербурге. Родные не могли оставить его в покое, особенно когда до них начали доходить слухи о его светских и закулисных похождениях. Не иначе как по их настоянию пришлось ему, едва получив отставку от военной службы, перейти на штатскую, и 9 июня 1817 года он был определен в ведомство Коллегии иностранных дел переводчиком. Затем, в конце того же года, Грибоедову пришлось принять участие в дуэли, которая сильно отразилась на его общественном положении и повлияла на его удаление из Петербурга.

Грибоедов жил на одной квартире со своим близким приятелем, товарищем С.Н. Бегичева графом Александром Петровичем Завадовским. Граф ухаживал тогда за знаменитой танцовщицей Истоминой, но счастливым обожателем ее был молодой кавалергард Василий Васильевич Шереметев. Грибоедов был знаком с Истоминой, часто встречал ее у князя Шаховского, бывал у нее в доме, любил ее за талант, но не принадлежал к числу ее поклонников. Как-то вздумалось ему пригласить ее к себе после спектакля пить чай. Истомина согласилась; но, опасаясь возбудить подозрение в ревнивом Шереметеве, предложила Грибоедову подождать ее с санями у Гостиного

двора, к которому обещала подъехать в казенной театральной карете. Все было исполнено по ее желанию: из кареты она пересела в сани Грибоедова и поехала к нему. Шереметев, однако, следил за ними и видел, как Грибоедов и Истомина доехали до квартиры графа Завадовского. Этого было довольно. Приятель Шереметева уланский штаб-ротмистр Александр Иванович Якубович (впоследствии декабрист), записной театрал, шалун и забияка, посоветовал ему вызвать на дуэль Грибоедова, обещая в свою очередь стреляться с Завадовским. Шереметев так и сделал, но Грибоедов на вызов его отвечал:

– Нет, братец, я с тобой стреляться не буду, потому что, право, не за что, а вот если угодно Александру Ивановичу (Якубовичу), то я к его услугам.

Тогда Шереметев вызвал Завадовского. Дуэль состоялась при самых суровых условиях. Противники должны были сходиться на шесть шагов, при барьере в восемнадцать. Секундантами были бывший воспитатель Грибоедова Ион и гусар Каверин, известный кутила, упоминаемый Пушкиным в его «Онегине». Первая очередь была предоставлена Завадовскому и Шереметеву. Оба они отлично стреляли, но Шереметев выстрелил, не дав противнику дойти до барьера. Пуля оторвала край воротника у сюртука Завадовского.

– А! – произнес граф. – Так он хотел убить меня… К барьеру!..

Секунданты, предвидя кровавую развязку, стали уговаривать графа пощадить жизнь противника.

Завадовский готов был уступить их просьбам, намереваясь только слегка ранить Шереметева, но последний, забыв все условия приличия дуэли, крикнул, что Завадовский должен его убить, если сам рано или поздно не хочет быть им убитым. Граф выстрелил – Шереметев упал; пуля прошла через живот и засела в левом боку. Якубович не мог тогда же стреляться с Грибоедовым ввиду обязанности отвезти раненого домой, и вторая часть «partie carrée»[5] была отложена.

После трехдневных страданий Шереметев умер. Отец его просил императора Александра Павловича не подвергать участников дуэли взысканию. Государь принял во внимание его просьбу, и виновные подверглись лишь легкому наказанию: граф Завадовский был выслан за границу, а Якубович из лейб-уланов переведен на Кавказ в драгунский полк; Грибоедов не подвергся даже выговору. Но ему нелегко было примириться с собственной совестью, долгое время не дававшей ему покоя. Он писал Бегичеву в Москву, что на него напала ужасная тоска, что он беспрестанно видит перед собою смертельно раненного Шереметева, что, наконец, пребывание в Петербурге сделалось

для него невыносимо.

Тем не менее, когда знакомый с Грибоедовым Мазарович, поверенный России в делах Персии, предложил Грибоедову ехать с ним в качестве секретаря посольства, Грибоедов долго отказывался от этого назначения. «Представь себе, – пишет он Бегичеву 15 апреля 1818 года, – что меня непременно хотят послать – куда бы ты думал? – в Персию, и чтоб жил там. Как я ни отнекиваюсь, ничто не помогает: однако я третьего дня, по приглашению нашего министра, был у него и объявил, что не решусь иначе (и то не наверно), как если мне дадут два чина тотчас при назначении меня в Тегеран. Он поморщился, и я представил ему со всевозможным французским красноречием, что жестоко бы было мне цветущие лета свои провести между дикообразными азиатцами, в добровольной ссылке, на долгое время отлучиться от друзей, от родных, отказаться от литературных успехов, которых я здесь вправе ожидать, от всякого общения с просвещенными людьми, с приятными женщинами, которым я сам могу быть приятен; не смейся: я молод, музыкант, влюбчив и охотно говорю вздор, чего же им еще надобно? Словом, невозможно мне собою пожертвовать без хотя несколько соразмерного возмездия.

– Вы в уединении усовершенствуете ваши дарования.

– Нисколько… Музыканту и поэту нужны слушатели, читатели: их нет в Персии…

Мы еще с ним кое о чем поговорили: всего забавнее, что я ему твердил о том, как сроду не имел ни малейших видов честолюбия, а между тем за два чина предлагал себя в полное его расположение.

При лице шаха всего только будут два чиновника: Мазарович, любезное создание, умен и весел, а другой – я, либо NN. Обещают тьму выгод, поощрений, знаков отличия по прибытии на место, да ведь дипломаты на посуле, как на стуле. Кажется однако, что не согласятся на мои требования. Как хотят, а я решился быть коллежским асессором или ничем…»

Но в конце переговоров Грибоедов примирился, очевидно, с чином титулярного советника, который и получил 17 июня 1818 года, на другой же день после состоявшегося определения его секретарем при Мазаровиче.

В конце августа он выехал и 30 августа писал Бегичеву уже из Новгорода письмо, показывающее, как тяжело ему было расстаться с Петербургом:

«Грусть моя не проходит, – пишет он, – не уменьшается. Вот я и в Новгороде, а мысли все в Петербурге. Там я имел многие огорчения, но иногда был и счастлив; теперь, как оттуда

удаляюсь, кажется, что там все хорошо было, всего жаль. Представь себе, что я сделался преужасно слезлив, ничто веселое и в ум не входит, похоже ли это на меня?…»

3 сентября Грибоедов был уже в Москве, где, предполагая пробыть не более трех дней, оставался дней десять. Здесь он, очевидно, помирился с родными, судя по следующим строкам письма к Бегичеву от 18 сентября из Воронежа:

«Там я должен был повторить ту же плачевную, прощальную сцену, которую с тобой имел при отъезде из Петербурга, и нельзя иначе: мать и сестра так ко мне привязаны, что я бы был извергом, если бы не платил им такою же любовью: они точно не представляют себе иного утешения, как то, чтоб жить вместе со мною. Нет! я не буду эгоистом; до сих пор я был только сыном и братом по названию: возвратясь из Персии, буду таковым на деле, стану жить для моего семейства, переведу их с собою в Петербург».

Но, в общем, Москва произвела на Грибоедова мрачное впечатление. «В Москве, – пишет он далее в том же письме, – все не по мне: праздность, роскошь, не сопряженные ни с малейшим чувством к чему-нибудь хорошему. Прежде там любили музыку, нынче и она в пренебрежении; ни в ком нет любви к чему-нибудь изящному, а притом „несть пророка без чести, токмо в отечестве своем, в сродстве и в дому своем“; отечество, сродство и дом мой в Москве. Все тамошние помнят во мне Сашу, милого ребенка, который теперь вырос, много повесничал, наконец к чему-то годен, определен в миссию и может со временем попасть в статские советники, а больше во мне ничего видеть не хотят…»

Далее путешествие шло с той медленностью, с какой оно в то время совершалось вследствие отсутствия железных дорог. Так, в Туле Грибоедов пробыл целый день, поскольку не было лошадей, и тем только разогнал скуку, что «нашел в трактире на стенах тьму глупых стихов и прозы, целое годовое издание покойника „Музеума“. „Вообще, – пишет он Бегичеву, – везде на станциях остановки; к счастию, что мой товарищ (канцелярский служитель при миссии актуариус Амбургер) – особа прегорячая, бич на смотрителей, хороший малый: я уже уверил его, что быть немцем – очень глупая роль на сем свете, и он уже подписывается Амбургов, а не – р, и вместе со мною немцев ругает наповал, а мне это с руки. Один том Петровых акций (то есть Истории Петра I) у меня в бричке, и я зато на него и на его колбасников сержусь“.

В октябре Грибоедов был уже в Тифлисе и тотчас же, еще на ступенях гостиницы, был вызван на дуэль Якубовичем. Они стрелялись. Грибоедов дал промах, а Якубович прострелил ему

ладонь левой руки, вследствие чего у Грибоедова свело мизинец, и это увечье через одиннадцать лет помогло узнать труп Грибоедова в груде прочих, изрубленных тегеранской чернью. Ермолов, бывший тогда на вершине своего могущества, некоторое время сердился на Якубовича и на Грибоедова; потом сменил гнев на ласку и, прощаясь с Грибоедовым, назвал его «повесою, но со всем тем прекрасным человеком».

Проведя в Тифлисе около четырех месяцев рассеянной и веселой жизни, в конце января 1819 года Грибоедов отправился вместе с миссией далее, на место своей службы, в Персию, в Тегеран. «28-го, – пишет он Бегичеву в пути, – после приятельского завтрака мы оставили Тифлис; я везде нахожу приятелей или воображаю себе это; дело в том, что многие нас провожали, в том числе Я. (Якубович?), и жалели, кажется, о моем отъезде».

Несмотря на горячее южное солнце, в Закавказье и Персии в то время стояла студеная зима; все было покрыто снегом, и Грибоедову пришлось выдержать долгий и скучный путь, сопряженный с немалыми опасностями. Особенно труден был первый день путешествия – переход в 40 верст. «Я поутру, – пишет Грибоедов, – обскакал весь город, прощальные визиты и весь перегон сделал на дурном грузинском седле и к вечеру уморился; не доходя до ночлега, отстав от всех, несколько раз сходил с лошади и падал в снег, едя его; к счастью, у конвойного казака нашлась граната, я ею освежился».

Вот как описывает он свое дальнейшее странствие:

«Хочешь ли знать, как и с кем я странствую то по каменистым кручам, то по пушистому снегу? Не жалей меня, однако: мне хорошо, могло бы быть скучнее. Нас человек 25, лошадей со вьючными не знаю, право, сколько, только много что-то. Ранним утром подымаемся; шествие наше продолжается часа два-три; я, чтобы не сгрустнулось, пою, как знаю, французские куплеты и наши плясовые песни, все мне вторят, и даже азиатские толмачи; доедешь до сухого места, до пригорка, оттуда вид отменный, отдыхаем, едим закуску, мимо нас тянутся наши вьюки с позвонками.[6] Потом опять в путь. Народ веселый; при нас борзые собаки; пустимся за зайцем или за призраком зайца, потому что я ни одного еще не видал. Этим случаем наши татары пользуются, чтобы выказывать свое искусство, – свернут вбок, по полянам несутся во всю прыть, по рвам, кустам, доскакивают до горы, стреляют вверх и исчезают в тумане, как царевич в 1001-й ночи, когда он невесту кашемирского султана взмахнул себе на коня и так взвился к облакам. А я, думаешь, назади остаюсь? Нет, это не в Бресте, где я был в «кавалерийском», – здесь скачу сломя

голову; вчера купил себе нового жеребца; я так свыкся с лошадью, что по скользкому спуску, по гололедице беззаботно курю из длинной трубки. Таков я во всем: в Петербурге, где всякий приглашал, поощрял меня писать и много было охотников до моей музы, я молчал, а здесь, когда некому ничего и прочесть, потому что не знают по-русски, я не выпускаю пера из рук…»

«Ночлег здесь обыкновенно в хате, довольно высоко освещенной маленьким отверстием над входом, против которого в задней стене камин; по обеим сторонам сплочены доски на пол-аршина от земли и устланы коврами; около них стойла, ничем не заслоненные, не заставленные. Между этими нарами у нас обыкновенно ставится круглый стол дорожный; повар наш славный, кормит хорошо. Мазарович покуда очень мил, много о нас заботится; и уважителен, и весел».

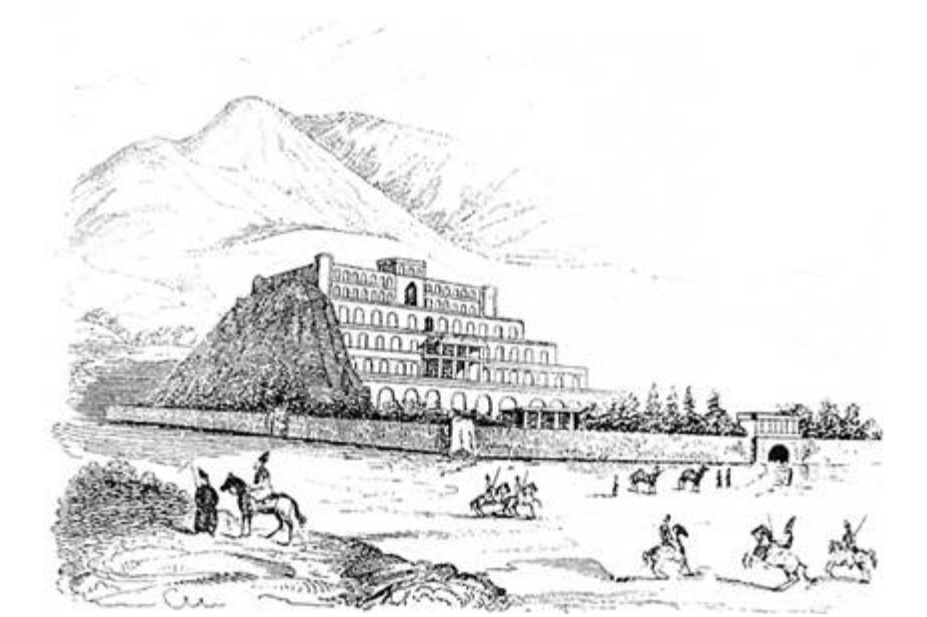
Пробыв несколько дней в Эривани, 7 февраля миссия двинулась далее и 9 февраля была уже в Нахичевани. «Не усталость меня губит, – пишет Грибоедов из этого города, – свирепость зимы нестерпимая; никто здесь не запомнит такой стужи, все южные растения померзли. Притом как надоели все и всё!..»

«День нашего отъезда из Эривани был пасмурный и ненастный. Щедро обсыпанный снегом, я укутался буркою, обвертел себе лицо башлыком, пустил коня наудачу и не принимал участия ни в чем, что вокруг меня происходило. Потеря небольшая; сторона, благословенная летом в рассказах и в описаниях, в это время и в эту погоду ничего не представляет изящного. Арарат по здешней дороге пять дней сряду в виду у путешественников, но теперь скрылся от нас за снегом, за облаками. Подумай немножко, будь мною на минуту: каково странствовать молча, не сметь раскрыться, выглянуть на минуту, чтобы, хуже скуки, не подвергнуться простуде. И между ног беспрестанное движение животного, которое не дает ни о чем постоянно задуматься! Часто мы скользим по оледенелым протокам; иные живее прочих; не замерзшие проезжали вброд. Их множество орошает здешние поля; вода нарочно проведена из горных источников и весною, усыряя пшеничные борозды, долго на них держится посредством ископанных для этого гряд, с которых мы каждый раз обрывались и вязнули в зыбучих глубях».

«Нет! Я не путешественник! Судьба, нужда, необходимость может меня со временем преобразить в исправники, в таможенные смотрители; она рукою железною закинула меня сюда и гонит далее; но по доброй воле, из одного любопытства никогда бы я не расстался с домашними пенатами, чтобы блуждать в варварской земле в самое злое время года. С таким

ропотом я добрался до Девала, большого татарского селения в 8 1/4 агача[7] от Эривани, бросился к камельку, не раздеваясь, не пил, не ел и спал как убитый!»

Лишь 8 марта прибыл наконец Грибоедов в Тегеран, а через три месяца переселился в Тавриз и со свойственной ему энергией и жаждою полезной деятельности принялся за исполнение своих обязанностей.



Вид Летнего дворца в Тегеране. Неизвестный художник, 1830-е гг.

Фетх-Али-шах, шах персидский. Работа Шарло по рисунку Вернье, первая четверть XIX в.

Коварная политика, которой Персия продолжала держаться по отношению к России, покровительство, оказываемое ею враждебным нам беглым ханам Дагестана и наших закавказских владений, вместе с нескончаемыми заботами по разным вопросам, остававшимся не решенными со времени заключения Гюлистанского трактата, ставили миссию нашу в положение далеко не завидное. Дел было много, и все время у Грибоедова было поглощено ими. К тому же вследствие частого отсутствия Мазаровича в Тавризе все дела миссии сосредоточивались в его руках, и он по собственной инициативе с энергией горячего патриота отстаивал интересы России. Так, он обратил особенное внимание на освобождение русских пленных и переселение их в Россию вместе с беглецами, проживавшими в Персии со времени кампании 1803 года.

В человеколюбивом намерении своем он не замедлил встретить массу препятствий, которые ему удалось преодолеть с неимоверными усилиями. Вероломная персидская политика не стеснялась никакими средствами, чтобы удержать пленных. По приказанию сына Фетх-Али-шаха, Наиб-султана, для возмущения

народа против русской миссии в ход пущены были подметные письма. Пленных, изъявивших согласие возвратиться в Россию, подвергали истязаниям, подкупали, чтобы они оставались в Персии, запугивали рассказами о наказаниях, ожидающих их будто бы на родине, и т. п.

Таким образом, уже тогда над головою Грибоедова нависла та самая опасность, которая обернулась катастрофой впоследствии, и он, конечно, сознавал эту опасность, когда пророчески писал в своем дневнике 24 августа 1819 года: «Голову мою положу за соотечественников». Он продолжал настаивать на осуществлении своего намерения и наконец преодолел все затруднения. Ему поручено было проводить отряд русских пленных в российские пределы, причем Грибоедов во время этого трудного похода не раз подвергался опасности лишиться жизни от рук озлобленных персиян, возбужденных подметными письмами Наиб-султана. Но в течение двух лет ненависть персидского правительства затихла, и Грибоедову удалось даже приобрести расположение к себе Наиб-султана, который упросил своего отца пожаловать ему персидский орден Льва и Солнца 2-й степени. Ровно три года провел Грибоедов в Персии. Изучив в совершенстве кроме персидского языка еще и арабский, научившись читать на обоих этих языках, он тем легче мог ознакомиться с нравами и обычаями персиян, изучить и характер этого народа, жестокого, коварного и вероломного.

Характер самого Грибоедова окончательно сложился в эти три года: по-прежнему добродушный, но нервный, раздражительный, он утратил юношескую веселость и беззаботность. Образ жизни его был скромен и воздержан: он сдерживал свои страсти, и единственной его слабостью была только любовь к лакомствам, на которые так изобретателен Восток. В убеждении, что звание секретаря посольства обязывает его к некоторому представительству при дворе шаха, где пышность служила мерилом знатности, Грибоедов держал многочисленную прислугу. Обхождение его с нею было вообще ласковое, снисходительное. Из всей прислуги особенным расположением Грибоедова пользовался молочный брат его Александр Грибов, всею душою ему преданный и никогда его не покидавший.

Но эта вынужденная роскошь была обременительна для Грибоедова (как и для прочих членов миссии), так как денежные обстоятельства его в это время были далеко не блестящи – ему приходилось ограничиваться одним жалованьем по должности. Из дома если он и получал какую помощь, то самую ничтожную, принимая в соображение расстроенное состояние его родных. Нет

ничего удивительного, что под конец пребывания в Тавризе Грибоедов успел задолжать 600 червонцев, о чем и сообщил Мазарович Ермолову 15 декабря 1820 года.

«Позвольте мне, генерал, почтительнейше вас просить об одной милости в отношении обоих моих чиновников: Грибоедова и Амбургера. Положение их действительно жестокое. Они задолжали около 600 червонцев, и я не могу сказать, чтобы бросали деньги зря. Не получая никакой награды, они имеют основание страшиться того же исхода, какой постиг и меня. Не поможете ли вы, уважаемый генерал, оказать им помощь? Я был бы вам много признателен. Соблаговолите написать к ним от себя несколько слов в утешение при настоящем их положении, но сделайте это так, умоляю вас, как бы я ничего вам не сообщал».

Вследствие всех этих условий нерадостно жилось Грибоедову в Тавризе. Недаром в письме к Катенину в феврале 1820 года он, говоря о частых землетрясениях в Тавризе, острит: «Хоть то хорошо, коли о здешнем городе сказать: провались он совсем, – так точно иной раз провалится».

Далее в том же письме мы читаем: «Не воображай меня, однако, слишком жалким. К моей скуке я умею примешать разнообразие, распределил часы; скучаю попеременно то с Лугатом Персидским, за который не принимался с сентября, то с деловыми бездельями, то в разговорах с *товарищами.* Веселость утрачена, не пишу стихов, может, и творились бы, да читать некому, сотруженики не русские. О любезном моем фортепиано, где оно, я совершенно неизвестен. Книги, посланные мной из Петербурга тем же путем, теряются».

На обороте черновика одного письма, неизвестно кому адресованного, но относящегося к этому же времени, мы встречаем набросок, очевидно, просьбы к начальству об увольнении, и набросок этот свидетельствует о том, как тягостна была для Грибоедова жизнь его в Тавризе, имевшая характер словно почетной ссылки. «Познания мои, – пишет он в этом наброске, – заключаются в знании языков: славянского, русского, французского, английского, немецкого. В бытность мою в Персии я занялся персидским и арабским. Для того, кто хочет быть полезен обществу, еще мало иметь несколько выражений для одной и той же мысли, говорит Ривароль, чем мы более просвещенны, тем полезнее можем быть своему отечеству. Но именно для того, чтобы приобрести познания, прошу об увольнении меня от службы или об отозвании из грустной страны, в которой вместо того, чтобы чему-нибудь выучиться, еще забываешь то, что знаешь. Я предпочел сказать вам истину вместо того, чтобы выставлять причиной нездоровье или расстройство

домашних дел – обыкновенные уловки, которым никто не верит».

Но однообразная жизнь вдали от родины, в тоскливом одиночестве, принесла и свою пользу. Хотя Грибоедов и заявляет в письме к другу, что он не пишет стихов, потому что читать их некому, но это не совсем справедливо. На самом деле Тавризу оказывается обязанным Грибоедов тем, что вновь – и на этот раз уже решительно и бесповоротно – взялся за свою комедию «Горе от ума». Относительно этого существует легенда, передаваемая Булгариным. В 1821 году Грибоедов, будучи в Персии и мечтая о Петербурге, о Москве, о своих друзьях, родных, знакомых, о театре, который он любил страстно, и об артистах, лег спать в киоске, в саду, и увидел сон, представивший ему любезное отечество со всем, что осталось в нем милого для сердца. Ему снилось, что он в кругу друзей рассказывает о новой комедии, будто бы им написанной, и даже читает некоторые места из нее. Пробудившись, Грибоедов берет карандаш, бежит в сад и в ту же ночь записывает план «Горя от ума» и сочиняет несколько сцен первого акта.

Очень возможно, что некоторую связь с этой легендой имеет нижеследующее найденное в бумагах Грибоедова черновое письмо, неизвестно кому адресованное, по-видимому А.А. Шаховскому:

«Тавриз, 17 ноября 1820 года, час пополудни.

Вхожу в дом, в нем праздничный вечер; я в этом доме не бывал прежде. Хозяин и хозяйка, Поль с женою, меня принимают в двери. Пробегаю первый зал и еще несколько других. Везде освещение; то тесно между людьми, то просторно. Попадаются многие лица, одно как будто моего дяди, другие тоже знакомые; дохожу до последней комнаты, толпа народу, кто за ужином, кто за разговором; вы там же сидели в углу, наклонившись к кому-то, шептали, и ваша возле вас. Необыкновенно приятное чувство, и не новое, а по воспоминанию, мелькнуло во мне; я повернулся и еще куда-то пошел, где-то был, воротился; вы из той же комнаты выходите мне навстречу. Первое ваше слово: «Вы ли это, А.С.? Как переменились. Узнать нельзя. Пойдем со мною»; увлекли далеко от посторонних, в уединенную длинную боковую комнату, к матовому окошку, головой прислонились к моей щеке, щека у меня разгорелась, и подивитесь! вам труда стоило, нагибались, чтобы коснуться моего лица, а я, кажется, всегда был выше вас гораздо. Но во сне величины искажаются, а все это сон, не забудьте.

Тут вы долго ко мне приставали с вопросами, написал ли я что-нибудь для вас? Вынудили у меня признание, что я давно отшатнулся, отклонился от всякого письма, охоты нет, ума нет –

вы досадовали. – Дайте мне обещание, что напишете. – Что же вам угодно? – Сами знаете. – Когда же должно быть готово? – Через год непременно. – Обязываюсь. – Через год, клятву дайте… И я дал ее с трепетом. В эту минуту малорослый человек, в близком от нас расстоянии, но которого я, давно слепой, не довидел, внятно произнес эти слова: «Лень губит всякий талант…» А вы, обернясь к человеку: «Посмотрите, кто здесь?…» Он поднял голову, ахнул, с визгом бросился мне на шею… дружески меня душит. – Катенин!.. Я пробудился.

Хотелось опять позабыться тем же приятным сном. Не мог. Встал, вышел освежиться. Чудное небо! Нигде звезды не светят так ярко, как в этой скучной Персии! Муэдзин с высоты минарета звонким голосом возвещал ранний час молитвы (семь пополуночи), ему вторили со всех мечетей, наконец ветер подул сильнее, ночная стужа развеяла мое беспамятство, затеплил свечку в моей храмине, сажусь писать и живо помню мое обещание; во сне дано, наяву исполнится».

Читая это письмо, можно предположить, что с Грибоедовым случилось нечто вроде следующего: совесть, встревоженная тем, что за служебными занятиями он забыл свой талант, навеяла на него сон, сразу после которого, той же ночью, во исполнение обещания, данного во сне, он взялся за перо. Могло случиться, что во время этого сна в памяти его вновь воскресли и план, и даже многие сцены комедии, за которую в прежние времена он не раз уже принимался. Как бы то ни было, но с тех пор Грибоедов не переставал уже работать над комедией, пока не довел ее до конца.

Глава IV
Жизнь в Тифлисе. – Грибоедов в Москве и в имении Бегичева. – Приезд в Петербург. – Чтение комедии в литературных кружках. – Тщетные хлопоты о постановке пьесы и издании ее. – Полемика журналов по поводу «Горя от ума». – Жизнь в Петербурге. – Новые знакомства. – Литературная деятельность

В конце 1821 года Грибоедов был послан в Тифлис для сообщения о войне, вспыхнувшей между Персией и Турцией, и по дороге с ним случилось несчастье, которое помогло ему не возвращаться более в «дипломатический монастырь», как он прозвал миссию в Тавризе. Он сломал в двух местах руку и принужден был обратиться за помощью к первому встречному, который исполнил свое дело так, что по приезде в Тифлис пришлось эту же руку ломать еще раз. Описанное происшествие послужило поводом к тому, что расположенный к Грибоедову Ермолов просил министра иностранных дел Нессельроде о назначении Грибоедова секретарем по иностранной части при своей особе, причем указывал на Грибоедова как на достойного кандидата в директора школы восточных языков, которая в то время проектировалась министерством. Просьба Ермолова была уважена, а сверх того 3 января 1822 года Грибоедов был произведен в коллежские асессоры.

Жизнь Грибоедова в Тифлисе значительно изменилась к лучшему. Он поселился близ армянского базара, в небольшом доме, в котором занимал верхний этаж, состоявший из двух небольших комнат, обращенных окнами на север, на предгорья главного кавказского хребта. Много бродил он по окрестностям, предпочитая особенно гору Св. Давида, у подошвы которой расстилается весь город. На этой горе находится теперь его могила.

У себя дома Грибоедов, обыкновенно в туземном архалуке, усердно занимался обработкою своей комедии или по целым часам наслаждался музыкой благодаря фортепиано, приобретенному у Н.Н. Муравьева, командира Эриванского полка, впоследствии наместника на Кавказе. Продолжая заниматься персидским языком под руководством содержателя одной из тифлисских бань Машади, Грибоедов делился своими познаниями в этом языке с Н.Н. Муравьевым, который в свою очередь учил его турецкому. Несколько раз Грибоедов отлучался из Тифлиса в разные стороны Кавказа, порою сопутствуя Ермолову в поездках на линию.

По обыкновению всеми любимый, Грибоедов посещал лучшие семейные дома города, чаще же всего бывал у генерала Р.И. Ховена и у вдовы генерал-майора Ахвердова, где впервые увидел он княжну Нину Чавчавадзе, сделавшуюся впоследствии его женой.

Но не обходилось житье в Тифлисе и без кое-каких дрязг и неприятных столкновений. Так, какой-то Бобарыкин едва не поссорил Грибоедова с Муравьевым, насплетничавши последнему, будто Грибоедов накануне у П.Н. Ермолова насмехался над занятиями восточными языками и способностями Муравьева.

Обиженный Муравьев отослал Грибоедову книги, но Грибоедов явился сам и извинился. Бобарыкин, «имея старые причины на него сетовать», стал говорить колкости. Грибоедов вскочил и ушел, но вскоре благодаря миролюбию Грибоедова и Муравьева все устроилось.

20 мая 1822 года произошла ссора, а затем дуэль Кюхельбекера с Похвисневым, кончившаяся промахом с одной стороны и осечкою с другой. Н.Н. Муравьев слышал от П.Н. Ермолова, что причиною всего был Грибоедов и что Кюхельбекер действовал по его совету.

В Тифлисе были окончены два первых действия «Горя от ума». Но Грибоедов пришел к убеждению, что для завершения комедии у него недостает красок, что несколько лет, проведенных вдали, затуманили в его памяти нравы и людей московского общества. Кавказская жизнь начала тяготить его не менее персидской, и вот в марте 1823 года он взял четырехмесячный отпуск, превратившийся в двухлетнее отсутствие от места службы.

А.С. Грибоедов (?) Рисунок А.С. Пушкина во второй главе рукописи романа «Евгений Онегин», 1823

Увидевшись после долгой разлуки с Бегичевым, Грибоедов прочел ему написанные два акта комедии, причем Бегичеву показалось, что Грибоедов с неудовольствием выслушал сделанные им замечания относительно первого акта.

На другой день Бегичев застал Грибоедова рано утром, неодетого, у печки, в которую он бросал лист за листом написанный первый акт.

– Я обдумал, – отвечал Грибоедов изумленному Бегичеву, – ты вчера говорил мне правду, но не беспокойся: все готово в голове моей.

И действительно, через неделю акт был написан вновь.

По приезде в Москву Грибоедов остановился у своих родных и с жаром принялся за окончание комедии. Как родные, так и все московские друзья и приятели не узнавали его. Прежде он чуждался общества и с трудом можно было выманить его на шумное светское собрание; теперь же он начал являться всюду, стал присяжным посетителем гостиных, балов, пикников. С жадностью наблюдал он все, что представлялось его взорам, и, возвращаясь поздно домой, писал целые сцены по ночам в один присест.

О комедии его никто пока не знал, кроме Бегичева и кн. П.А. Вяземского, с которым Грибоедов в то время только что

познакомился в Москве и которому читал «Горе от ума», причем Вяземский сделал поправку к 8-му явлению 2-го действия: слова Чацкого *«для компаньи»* передал Лизе. Но вскоре комедия получила общую известность. Произошло это таким образом. Грибоедов был рассеян и беспечен, работал где Бог приведет и никогда не трудился прибирать своей работы. Всего чаще приходил он писать в комнату сестры и разбрасывал листы своей рукописи по всем углам дома, где ни попало. Граф Виельгорский, перебирая однажды ноты на рояле Марьи Сергеевны, нашел лист, потом другой-третий, исписанные стихами рукою Грибоедова. На вопрос хозяйке, что это такое, она отвечала, желая замять дело: «Ce sont les folies d'Alexandre!»[8] Но было уже поздно: эти folies были частью «Горя от ума». Виельгорский почти насильно увез с собою найденные листы, и весть о новой комедии разнеслась по Москве и далее. Грибоедов не пользовался тогда еще славою первостепенного поэта, и надо полагать, что пьеса его интересовала публику не как новое великое художественное произведение, а как комедия-пасквиль, которая содержит карикатурные портреты многих лиц московского бомонда. В таком виде тогда же долетела весть о комедии Грибоедова до Одессы, и Пушкин, находившийся в то время там, в письме к кн. П.А. Вяземскому с негодованием заявляет: «Что такое Грибоедов? Мне сказывали, что он написал комедию на Чаадаева; в теперешних обстоятельствах это чрезвычайно благородно с его стороны».

Между тем Грибоедов продолжал без устали работать над своей комедией: работал он и в Москве, и весною 1824 года в имении Бегичева, в селе Дмитриевском Тульской губернии Ефремовского уезда. Здесь он уединялся для работы в саду, в беседке, вставая рано и лишь к обеду являясь к домашним, а по вечерам читал все написанное днем. Когда в июне 1824 года он поехал в Петербург, то продолжал трудиться над комедией и в дороге, и по приезде в Петербург, как об этом свидетельствует в следующем письме Бегичеву в августе 1824 года: «Надеюсь, жду, урезываю, меняю дело на вздор, так что во многих местах моей драматической картины яркие краски совсем… сержусь и восстановляю стертое, так что кажется, работе конца не будет… будет же, добьюсь до чего-нибудь; терпение есть азбука всех прочих наук; посмотрим, что Бог даст. Кстати, прошу тебя моего манускрипта никому не читать и предать его огню, коли решишься: он так несовершенен, так нечист; представь себе, что с лишком восемьдесят стихов или, лучше сказать, рифм переменил; теперь гладко, как стекло. Кроме того на дороге пришло мне в голову приделать новую развязку; я ее вставил между сценою

Чацкого, когда он увидал свою негодяйку со свечой под лестницею, и перед тем, как ему обличить ее; живая, быстрая вещь, стихи искрами посыпались в самый день моего приезда, и в этом виде читал я ее Крылову, Жандру, Хмельницкому, Шаховскому, Гр<ечу> и Булг<арину>, Колосовой, Каратыгину, дай счесть – *8 чтений,* нет, обчелся, – двенадцать; третьего дня обед был у Столыпина, и опять чтение, и еще слово дал на три в разных закоулках. Грому, шуму, восхищению, любопытству конца нет. Шаховской решительно признает себя побежденным (на этот раз). Замечанием Виельгорского я тоже воспользовался. Но наконец мне так надоело все одно и то же, что во многих местах импровизирую, – да, это несколько раз случилось, – потом я сам себя ловил, но другие не домекались. Voilá ce qui s'appelle sacrifier à l'intérêt du moment[9]…»

Триумф, с которым встретил Петербург комедию Грибоедова, естественно, закружил ему голову и довел его до той высокомерной резкой выходки на чтении комедии у Н.И. Хмельницкого, о которой рассказывает в своих записках Каратыгин:

«Н.И. Хмельницкий сделал обед, на который пригласил литераторов и артистов (Каратыгиных и Сосницкого). Хмельницкий жил тогда барином, в собственном доме по Фонтанке, у Симеоновского моста. В назначенный час собралось у него небольшое общество. Обед был роскошен, весел, шумен… После обеда все вышли в гостиную, подали кофе, и закурили сигары… Грибоедов положил рукопись своей комедии на стол, гости в нетерпеливом ожидании начали придвигать стулья; каждый старался поместиться поближе, чтоб не проронить ни одного слова… В числе гостей был некто Василий Михайлович Федоров, сочинитель драмы „Лиза, или Следствие гордости и обольщения“ и других уже давно забытых пьес… Он был человек очень добрый, простой, но имел претензию на остроумие… Физиономия ли его не понравилась Грибоедову или, может быть, старый шутник пересолил за обедом, рассказывая неостроумные анекдоты, только хозяину и его гостям пришлось быть свидетелями довольно неприятной сцены… Покуда Грибоедов закуривал свою сигару, Федоров, подойдя к столу, взял комедию (которая была переписана довольно разгонисто), покачал ее на руке и с простодушной улыбкой сказал: „Ого! какая полновесная!.. Это стоит моей Лизы“. Грибоедов посмотрел на него из-под очков и отвечал ему сквозь зубы: „Я пошлостей не пишу“. Такой неожиданный ответ, разумеется, огорошил Федорова, и он, стараясь показать, что принимает этот ответ за шутку, улыбнулся и тут же поторопился прибавить: „Никто в этом

не сомневается, Александр Сергеевич; я не только не хотел обидеть вас сравнением со мной, но, право, готов первый смеяться над своими произведениями“.

– Да, над собой-то вы можете смеяться сколько вам угодно, а я над собой – никому не позволю…

– Помилуйте, я говорил не о достоинстве наших пьес, а только о числе листов.

– Достоинств моей комедии вы еще не можете знать, а достоинства ваших пьес всем давно известны.

– Право, вы напрасно это говорите: я повторяю, что вовсе не думал вас обидеть.

– О, я уверен, что вы сказали, не подумавши, а обидеть меня вы никогда не можете.

Хозяин от этих шпилек был как на иголках и, желая шуткой как-нибудь замять размолвку, которая принимала нешуточный характер, взял за плечи Федорова и, смеясь, сказал ему: «Мы за наказание посадим вас в задний ряд кресел».

Грибоедов между тем, ходя по гостиной с сигарой, отвечал Хмельницкому:

– Вы можете его посадить куда вам угодно, только я при нем своей комедии читать не стану.

Федоров покраснел до ушей и походил в эту минуту на школьника, который силится схватить ежа – и где его ни тронет, везде уколется… Очевидно, что хозяин был поставлен в самое щекотливое положение между своими гостями, не знал, чью сторону принять, и всеми силами старался как-нибудь потушить эту вздорную ссору, но Грибоедов был непреклонен и ни за что не соглашался при Федорове начать чтение. Нечего было делать, бедный автор добродетельной Лизы взял шляпу и, подойдя к Грибоедову, сказал:

– Очень жаль, Александр Сергеевич, что невинная моя шутка была причиной такой неприятной сцены… И я, чтобы не лишать хозяина и его почтенных гостей удовольствия слышать вашу комедию, ухожу отсюда.

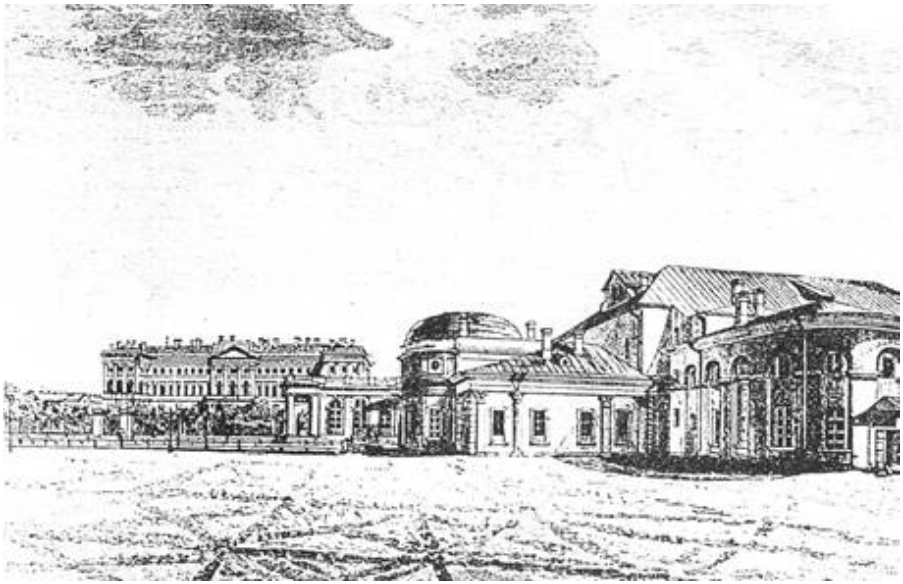
Грибоедов с жестоким хладнокровием отвечал ему на это:

– Счастливого пути!

Федоров скрылся… И затем Грибоедов начал читать свою комедию…»

Между тем как Петербург встретил комедию Грибоедова с таким общим и единодушным восторгом, Москва продолжала видеть в ней один пасквиль на именитых лиц, и в великосветских кругах ее, преисполнившихся открытого негодования, поднялась яростная агитация против автора. В действующих лицах комедии находили сходство то с теми, то с другими московскими особами

и кричали о том, что следует постоять за честь порядочного московского общества, русского имени, за нравственность и прочее. С этой целью подбивали «американца» Толстого, которого все узнали в «ночном разбойнике и дуэлисте, вернувшемся из Камчатки алеутом», вызвать на дуэль Грибоедова. Директор театров Кокошкин сообщал генерал-губернатору князю Д.В. Голицыну, что «Горе от ума» – прямой пасквиль на Москву. Затем последовали донесения и в Петербург о том, что комедия колеблет основы, возбуждает недовольство дворянского сословия и т. п. При этих условиях понятно, что все хлопоты Грибоедова о том, чтобы поставить пьесу на сцене, потерпели полное фиаско; напрасно он рассчитывал на талантливую актрису Дюрову как на прекрасную исполнительницу роли Софьи, давал советы Сосницкому и Щепкину, которым предназначал роли Репетилова и Фамусова. Тщетно вносил он массу сокращений в свою пьесу, чтобы сделать ее цензурной. Не помогли и ходатайства влиятельных лиц, в том числе дальнего родственника Грибоедова, Паскевича. Даже устроенное было тайком учениками театральной школы представление «Горя от ума» (причем репетициями руководил сам автор), было расстроено по приказанию генерал-губернатора графа Милорадовича, который был зол на Грибоедова за то, что тот отбивал у него танцовщиц, пользовавшихся его покровительством, в числе которых наиболее увлекался Грибоедов Телешевой, так что прославлял ее даже стихами. Не меньшую злобу Милорадовича против Грибоедова возбуждало и то обстоятельство, что последний прозвище Милорадовича «le chevalier Bayard»[10] переиначил в «le chevalier bavard».[11] Грибоедов сделал эту переделку, с одной стороны, намекая на болтливость графа Милорадовича, а с другой, – в воспоминание того, что Милорадович, говоря по-французски Александру I о смерти короля баварского, сказал вместо «le roi de Bavière»[12] – «le roi des Bavares».[13]



Петербургский Малый театр. Гравюра по рисунку К.Ф. Сабата, 1820-е гг.

Лишь спустя три года удалось Грибоедову в первый и единственный раз в жизни увидеть свою пьесу на сцене. Это было в 1829 году в Эривани, где дивизионный генерал Красовский устроил весьма порядочный офицерский театр в бывшем дворце персидских сердарей; но граф Паскевич запретил эти спектакли. Впервые «Горе от ума» было сыграно на публичной сцене уже после смерти Грибоедова, в Петербурге 26 января, а в Москве 27 ноября 1831 года.

Не удалось Грибоедову увидеть свою комедию целиком и в печати. Лишь в альманахе «Русская Талия», изданном в 1825 году Ф. Булгариным, было напечатано несколько сцен из нее. Надо, впрочем, заметить, что Грибоедов сам был отчасти виноват, что комедия его не появилась в печати в полном объеме тогда же. По рассказу одного из цензоров того времени, в 1824 году в приемную к министру явился однажды высокий стройный мужчина во фраке, в очках, с большой переплетенной рукописью. Это был Грибоедов. Рассказчик, случившийся в приемной, спросил вошедшего, чего он желает. – «Я хочу видеть министра и просить у него разрешения напечатать комедию „Горе от ума“. Чиновник объяснил, что дело просмотра рукописей принадлежит цензуре и он напрасно обращается к министру. Грибоедов, однако, стоял на своем, а потому был допущен к министру. Тот, просмотрев рукопись, перепугался разных отдельных стихов, и

комедия на многие годы была запрещена. „Не иди Грибоедов к министру, а представь рукопись к нам в комитет, – рассказывал цензор, – мы бы вычеркнули из нее несколько строк, и „Горе от ума“ явилось бы в печати почти десятком лет ранее, чем то случилось по гордости Грибоедова, пожелавшего иметь дело прямо с министром, а не с цензурным комитетом“.

Таким образом, полностью, хотя и с большими пропусками, комедия появилась в печати лишь в 1833 году. Зато в списках к пятидесятым годам она успела распространиться в количестве около сорока тысяч экземпляров.

Появление отрывков комедии в «Русской Талии» развязало язык прессе, и весь 1825 год был занят ожесточенной полемикой различных органов печати по поводу «Горя от ума». Вся литература, можно сказать, разделилась на два лагеря – друзей и врагов пьесы. Во главе последних стоял и доживавший последние дни свои Карамзин, не забывший насмешек Грибоедова над сентиментализмом. Но Карамзин, конечно, не заявлял своего мнения печатно, а ограничивался разговором в кругу своих высокопоставленных друзей. В пользу комедии первый голос подал Н.А. Полевой в № 1 своего «Московского телеграфа» за 1825 год.

В.А. Ушаков, литератор. Неизвестный художник, 1835

Н.А. Полевой, издатель журнала «Московский телеграф». Гравюра А. Мюнстера по рисунку К.Я. Афанасьева, 1850-е гг.

«Еще ни в одной российской комедии, – писал он, – не находим мы таких острых, новых мыслей и таких живых картин общества, какие находим в комедии „Горе от ума“. Загорецкий, Наталья Дмитриевна, князь Тугоуховский, Хлёстова, Скалозуб списаны мастерскою кистью. Смеем надеяться, что читавшие и читающие отрывок позволят нам от лица всех просить г-на Грибоедова издать всю комедию; до этого не можем сказать ни слова о завязке и развязке комедии. Беспристрастно судя, можно бы пожелать более гармонии и чистоты в стихах г-на Грибоедова. Выражения: *глазом-мигом не прищуря – кто ж радуется эдак – черномазенъкий – дом зеленью раскрашен – нету дела – слыли за дураков – опротиветь – к прикмахеру* и т. п., – дерут уши».

Эпиграмма Грибоедова на московских литераторов

М.А. Дмитриев, литератор. Неизвестный художник, середина XIX в.

Против этого отзыва Полевого не замедлил восстать в № 5 «Вестника Европы» Коченовского М.А. Дмитриев, ополчившийся на комедию Грибоедова грозною филиппикой, в которой между прочим говорит: «По отрывку нельзя судить о целой комедии; но о характере главного действующего лица можно. Г-н Грибоедов хотел представить умного и образованного человека, который не нравится обществу людей необразованных. Если бы комик исполнил сию мысль, то характер Чацкого был бы занимателен, окружающие его лица – смешны и вся картина – забавна и поучительна! Но мы видим в Чацком человека, который злословит и говорит все, что ни придет в голову; естественно, что такой человек наскучит во всяком обществе, и чем общество образованнее, тем он наскучит скорее! Например, встретившись с девицей, в которую влюблен и с которой несколько лет не видался, он не находит другого разговора, кроме ругательств и насмешек над ее батюшкой, дядюшкой, тетушкой и знакомыми, потом, на вопрос молодой графини, зачем он не женился в чужих краях? – отвечает грубо – дерзостью! Сама Софья говорит о нем: „Не человек – змея!“ Итак, мудрено ли, что от такого лица

разбегутся и примут его за сумасшедшего…»

Далее критик высказывает предположение, что «Горе от ума» взято из «Абдеритян» Виланда, но только Чацкому далеко до Демокрита этой комедии. О языке же «Горя от ума» он отзывается стихом из самой комедии. Он говорит, что в ней «господствует смешенье языков французского с нижегородским».

На критику Дмитриева ополчился в «Сыне отечества» – в защиту «Горя от ума» – О. Сомов. Против Сомова в защиту Дмитриева выступил в № 10 «Вестника Европы» некий Пиллад Белугин, который не ограничился уже одними отрывками комедии, напечатанными в «Русской Талии», а разбирает ее всю, в целом, и находит, что «ни одна сцена не истекает из предыдущей и не связывается с последующей. Перемените порядок явлений, переставьте нумера их, выбросьте любое, вставьте что хотите, и комедия не переменится. Во всей пьесе нет *необходимости,* стало – нет *завязки,* а потому не может быть и *действия».*

О своем противнике же (О. Сомове) критик «Вестника Европы» замечает, что «не любовь к истине водила пером его, а досада на смелость рецензента, восставшего против автора одного с ним *прихода».*

Что касается самого Грибоедова, то он не только не принимал никакого участия во всей этой бранчливой полемике, но и друзей своих удерживал от участия в ней. Его более занимали и задевали за живое отзывы людей, которых он привык уважать с первых лет своего вступления на литературное поприще. Так, чрезвычайно интересно письмо его к П.А. Катенину, января 1825 года, в котором он возражает против замечаний Катенина на его комедию. Считаем нужным привести это письмо целиком, так как оно содержит взгляд на «Горе от ума» самого автора.

«Критика твоя, хотя жестокая и вовсе не справедливая, принесла мне истинное удовольствие тоном чистосердечия, которого я напрасно буду требовать от других людей; не уважая искренности их, негодуя на притворство, чорт ли мне в их мнении? Ты находишь главную погрешность в плане, – мне кажется, что он прост и ясен по цели и исполнению; девушка, сама не глупая, предпочитает дурака умному человеку (не потому, чтобы ум у нас, грешных, был обыкновенен, нет! и в моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека); и этот человек, разумеется, в противоречии с обществом, его окружающим, его никто не понимает, никто простить не хочет за то, (что) он немножко повыше прочих; сначала он весел, и это порок: *«Шутить и век шутить, как вас на это* стянет!» Слегка перебирает странности прежних знакомых, что же делать, коли

нет в них благороднейшей доли той черты! Его насмешки не язвительны, покуда его не взбесить, но все-таки: *«Не человек – змея!»* А после, когда вмешивается личность, «наших затронули», предается анафеме: *«Умереть рад, кольнуть, завистлив! горд и* зол!» Не терпит подлости: *«Ах! Боже мой, он карбонарий!»* Кто-то со злости выдумал о нем, что он сумасшедший, никто не поверил, и все повторяют. Голос общего недоброхотства и до него доходит, притом и нелюбовь к нему той девушки, для которой, собственно, он явился в Москву, ему совершенно объясняется, он ей и всем наплевал в глаза и был таков. Ферзь тоже разочарована на счет своего сахара медовича. Что же может быть полнее этого?

«Сцены связаны произвольно». Так же как в натуре всяких событий, мелких и важных; чем внезапнее, тем более завлекают в любопытство. Пишу для подобных себе, а я, когда по первой сцене угадываю десятую, раззеваюсь и вон бегу из театра.

«Характеры портретные. Да! и я коли не имею таланта Мольера, то по крайней мере чистосердечие его; портреты и только портреты входят в состав комедий и трагедий, в них, однако, есть черты, свойственные многим другим лицам, а иные всему роду человеческому настолько, насколько каждый человек похож на всех своих двуногих собратий. Карикатур ненавижу, в моей картине ни одной не найдешь. Вот моя поэтика; ты волен просветить меня, и, коли лучше что выдумаешь, я позаймусь от тебя с благодарностью. Вообще я ни перед кем не таился и сколько раз повторяю (свидетельствуюсь Жандром, Шаховским, Гречем, Булгариным etc. etc. etc.), что тебе обязан зрелостью, объемом и даже оригинальностью моего дарования, если оно есть во мне. Одно прибавлю о характерах Мольера: «Мещанин во дворянстве», «Мнимый больной» – портреты, и превосходные; «Скупец» – Антропос собственной фабрики, и несносен.

«Дарования больше, нежели искусства». Самая лестная похвала, которую ты мог мне сказать, не знаю, стою ли ее? Искусство в том только и состоит, чтобы подделываться под дарование, а в ком более вытверженного, приобретенного потом и мучением искусства угождать теоретикам, т. е. делать глупости, в ком, говорю я, более способности удовлетворять школьным преданиям, нежели собственной творческой силы, тот, если художник, разбей свою палитру и кисть, резец или перо свое брось за окошко; знаю, что всякое ремесло имеет свои хитрости, но чем их менее, тем спорее дело, и не лучше ли вовсе без хитростей? nuqae difficiles.[14] Я как живу, так и пишу свободно и свободно».

Главная цель поездки Грибоедова в Петербург заключалась в том, чтобы испросить разрешение на поездку за границу. Но, хотя

разрешение это последовало, он не воспользовался им, что дало ему возможность прожить около года в Петербурге. Жил он уединенно на Торговой улице, изучал восточные языки под руководством профессора Казембека и Мирзы-Джафара и, сверх того, занимался правоведением, философией, историей и политической экономией. Светские салоны в это время посещал он редко, предпочитая им литературные кружки, хотя нельзя сказать, чтобы и последние вполне удовлетворяли его. «Вчера я обедал, – писал он Бегичеву 4 января 1825 года, – со всею сволочью здешних литераторов. Не могу пожаловаться, отовсюду коленопреклонения и фимиам, но вместе с тем – сытость от их дурачеств, их сплетен, их мишурных талантов и мелких их душишек».

Несравненно более и в умственном, и в нравственном отношениях удовлетворял Грибоедова литературный кружок, группировавшийся вокруг «Полярной звезды». Он познакомился в это время и сблизился со многими из декабристов: Рылеевыми, А.А. Бестужевым, Д.И. Завалишиным. Они до некоторой степени посвятили его в свои политические замыслы, но Грибоедов далеко не сочувствовал этим замыслам.

«Сто человек прапорщиков, – часто говорил он, смеясь, – хотят изменить весь государственный быт России».

Изредка брался он в это время и за перо, хотя не создал ничего, что можно было бы поставить в один ряд с «Горем от ума». Так, кроме вышеупомянутого послания Телешевой, напечатанного в «Сыне отечества» в 1825 году, к тому времени относятся стихотворение «Восток», отрывок из поэмы «Кальянчи», «Пролог к „Фаусту“ Гете», появившийся в «Полярной звезде» в 1825 году, стихотворение «Домовой» на какой-то сюжет из мира русских народных сказок; наконец, вместе с кн. Вяземским он написал оперу-водевиль «Где брат, где сестра», в которой ему принадлежат два романса: «Любит обновы мальчик этот» и «Ах, никогда ей в персях безмятежных…»

По всей вероятности под впечатлением ничтожности всех этих литературных работ Грибоедов сетовал в письме Бегичеву 9 сентября 1825 года: «Ничего не написал – не знаю, не слишком ли я от себя требую? умею ли писать? Право, для меня все еще загадка. Что у меня с избытком найдется, что сказать, – за это ручаюсь; отчего же я нем? Нем, как гроб!»

Глава V
Путешествие по Крыму. – Ипохондрия. – Возвращение на Кавказ. – Участие в экспедиции Вельяминова. – Арест. – Путешествие с фельдъегерем в Петербург. – Заключение и оправдание. – Жизнь на Выборгской стороне. – Поступление под начальство Паскевича. – Персидская кампания. – Неустрашимость Грибоедова. – Заключение Туркманчайского мира. – Последнее пребывание в Петербурге. – Награды и почести. – Трагедия «Грузинская ночь». – Посещение литературных кружков

Срок отпуска Грибоедова кончился в марте 1825 года, и приходилось возвращаться на Кавказ. Он поехал туда не прямо, а несколько в объезд, через Киев, где был в начале июня, и затем объехал весь южный берег Крыма с М.Ш. Бороздиным и слугою Александром Грибовым. При этом, судя по краткому дневнику путешествия, Грибоедова занимали не одни красоты крымской природы, но и различные историко-археологические древности. Так, в Херсонесе он заинтересовался вопросом о крещении Руси Владимиром; на еврейском кладбище рассматривал старые надгробные надписи; следы греческих и генуэзских поселений возбудили в нем ряд остроумных соображений.

Но нимало не утешил и не развлек Грибоедова Крым ни красотами природы, ни историческими древностями. Замечательно, что каждый раз, когда Грибоедов оставлял

Петербург – и по мере приближения к югу и месту службы, – им все более и более овладевала мучительная ипохондрия, в разгар которой он не находил себе места и бывал близок к самоубийству. Так, уже в Симферополе, где он остановился в сентябре, успев объехать южный берег, ипохондрия возбуждала в нем стремление к полному одиночеству, и он тяготился толпою туристов-поклонников, осаждавших своими ухаживаниями только что приобретшего популярность драматурга.

«Еще игра судьбы нестерпимая, – пишет он Бегичеву 9 сентября 1825 года, – весь век желаю где-нибудь найти уголок для уединения, и нет его для меня нигде. Приезжая сюда, никого не вижу, не знаю и знать не хочу. Это продолжалось не долее суток, потому ли, что фортепианная репутация моей сестры известна, и чутьем открыли, что я умею играть вальсы и кадрили; ворвались ко мне, осыпали приветствиями, и маленький городок сделался мне тошнее Петербурга. Мало этого. Наехали путешественники, которые меня знают по журналам: сочинитель Фамусова и Скалозуба, следовательно, – веселый человек. Тьфу, злодейство! Да мне не весело, скучно, отвратительно, несносно!» В Феодосии эта ипохондрия приняла еще более острый характер.

«А мне, – пишет он все тому же Бегичеву 12 сентября, – между тем так скучно! так грустно! Думаю помочь себе, взялся за перо, но пишется нехотя, вот и кончил, а все не легче. Прощай, милый мой. Скажи мне что-нибудь в отраду: я с некоторых пор мрачен до крайности. – Пора умереть! Не знаю, отчего это так долго тянется. Тоска неизвестная! Воля твоя, если это долго меня промучает, я никак не намерен вооружиться терпением; пускай оно остается добродетелью тяглого скота. Представь себе, что со мною повторилась та ипохондрия, которая выгнала меня из Грузии, но теперь в такой усиленной степени, как никогда еще не бывало.

Одоевскому я не пишу об этом: он меня страстно любит и пуще моего будет несчастлив, как узнает. Ты, мой бесценный Степан, любишь меня тоже, как только брат может любить брата, но ты меня старее, опытнее и умнее; сделай одолжение, подай совет, чем мне избавить себя от сумасшествия или пистолета, а я чувствую, что то или другое у меня впереди».

В октябре Грибоедов вернулся в Грузию и, представившись Ермолову в станице Екатериноградской, участвовал добровольно в экспедиции генерала Вельяминова против чеченцев. Здесь, в виду неприятеля, у подножия Кавказских гор, Грибоедов написал стихотворение «Хищники в Чегеме», напечатанное в «Северной пчеле» в № 143 за 1826 год.

Ермолов любил Грибоедова, как сына, не полагая пределов

своей к нему приязни и снисходительности. Грибоедов в свою очередь не скупился на самые восторженные хвалы, хотя и дал генералу прозвище проконсула, а о его деятельности говорил: «Борьба горной и лесной свободы с барабанным просвещением; будем вешать и прощать и плюем на Историю».

В это же время при Ермолове находился на Кавказе известный партизан и поэт Денис Васильевич Давыдов. Грибоедов сошелся с ним и полюбил его.

Д.В. Давыдов, поэт, генерал, герой войны 1812 г. Работа К.Я. Афанасьева, 1830-е гг.

В письмах к Бегичеву он отзывался о Давыдове с самой выгодной стороны. Так, в письме от 7 декабря 1825 года он между прочим писал: «Давыдов здесь во многом поправил бы ошибки самого Алексея Петровича (Ермолова). Эта краска рыцарства, какою судьба оттенила характер нашего приятеля, привязала бы к нему кабардинцев».

Знакомство с декабристами не прошло для Грибоедова даром. 23 января 1826 года в станицу Екатериноградскую приехал фельдъегерь Уклонский с приказом арестовать его. Приказ был получен Ермоловым за ужином. Он вышел в другую комнату, позвал сейчас же Грибоедова и сказал:

– Ступай домой и сожги все, что может тебя скомпрометировать. За тобой прислали, и я могу дать тебе только час времени.

Грибоедов ушел, и после назначенного срока Ермолов со всею толпою, с начальником штаба и адъютантами пришел арестовать его. Часть бумаг Грибоедова была в крепости Грозной. Ермолов дал предписание командиру взять их и вручить фельдъегерю. В секретном отношении же к барону Дибичу Ермолов заявил, что Грибоедов «взят таким образом, что не мог истребить находившихся у него бумаг; но таковых при нем не найдено, кроме весьма немногих, кои при сем препровождаются; если же впоследствии могли бы быть отысканы оные, то все таковые будут доставлены». В заключение Ермолов сообщил, что Грибоедов во время службы его в миссии при персидском дворе и потом при нем «как в нравственности своей, так и в правилах не был замечен развратным и имеет весьма многие хорошие качества».

«Когда Грибоедов приехал с фельдъегерем в Москву, он, – рассказывает Бегичев, – чтобы не испугать меня, проехал прямо в дом брата моего Дмитрия Никитича в Старой Конюшенной, в приходе Пятницы Божедомской. В этот самый день у меня был обед: родные съехались провожать брата жены моей А.Н. Барышникова, возвращавшегося из отпуска на службу. Дмитрий Никитич должен был обедать у меня же. Ждали мы его, ждали и наконец сели за стол. Вдруг мне подают от брата записку такого содержания: „Если хочешь видеть Грибоедова, приезжай, он у меня“. Я, ничего не подозревая, на радостях сказал эту весть во всеуслышание. Родные, зная мои отношения к Грибоедову, сами стали посылать меня на это так неожиданно приспевшее свидание. Я отправился. Вхожу в кабинет к брату, – накрыт стол; сидят и обедают: Грибоедов, брат и еще какая-то безволосая фигурка в курьерском сюртуке. Увидел я эту фигурку, и меня облило холодным потом. Грибоедов смекнул дело и сейчас же нашелся:

– Что ты смотришь на него? – сказал он мне. – Или думаешь, что это… так… просто курьер? Нет, братец, ты не смотри, что он курьер – он происхождения знатного: это испанский гранд дон Лыско Плешивос да Париченца!

Этот фарс рассмешил меня и показал, в каких отношениях находился Грибоедов к своему телохранителю. Мне стало несколько легче. Отобедали, говорили. Грибоедов был весел и совершенно покоен.

– А что, братец, – сказал он телохранителю, – ведь у тебя здесь родные; ты бы съездил повидаться с ними!

Телохранитель был очень рад, что Грибоедов его *отпустил,* и сейчас уехал. Первым моим вопросом Грибоедову было выражение удивления, какими судьбами и по какому праву распоряжается он и временем, которое уже не принадлежало ему,

и особою своего телохранителя.

– Да что! – отвечал он мне, – я сказал этому господину, что если он хочет довезти меня живого, так пусть делает то, что мне угодно. Не радость же мне в тюрьму ехать!

Грибоедов приехал в Москву около четырех часов пополудни и выехал в два часа ночи. На третий день я отправился к Настасье Федоровне (матери Грибоедова), и та с обыкновенной своей заносчивостью с первых же слов начала ругать сына на чем свет стоит: и карбонарий-то он, и вольнодумец, и пр., и пр.

Проездом через Тверь, как я узнал от него после, он опять остановился; у телохранителя оказалась там сестра, к которой они и въехали. Грибоедов, войдя в комнату, увидал фортепиано и – глубокий музыкант в душе – не вытерпел и сел к нему. Девять битых часов его не могли оторвать от инструмента!

По приезде в Петербург курьер привез его в Главный штаб и сдал с пакетом дежурному офицеру. Пакет лежал на столе… Грибоедов подошел, взял его… пакет исчез… Имя Грибоедова было так громко, что по городу сейчас же пошли слухи: «Грибоедова взяли! Грибоедова взяли!..»

Вместе с Грибоедовым в здании Главного штаба в трех комнатах графа Толя (ввиду переполнения крепости) были Кольм, граф Мошинский, Сенявин, Раевский, князь Баратаев, Любимов, князь Шаховской, Завалишин и др. Вначале смотритель Жуковский притеснял их, но Любимов, бывший командир Тарутинского полка, подкупил его, и отсюда произошло известное послабление всем арестованным. Жуковский даже водил Грибоедова и Завалишина в кондитерскую Лоредо, бывшую на углу Адмиралтейской площади и Невского проспекта. В отдельной комнатке стояло фортепиано, и на нем играл Грибоедов.

Невесело было, однако, ему сидеть, – продолжает Бегичев. – Но и тут, в заключении, не исчезло влияние его характера, очаровывавшего все окружающее. Его очень полюбил надсмотрщик, надзиравший над лицами, содержавшимися под арестом. Раз Грибоедов, в досаде на свое положение, разразился такой громкой иеремиадой, что надсмотрщик отворил дверь в его комнату… Грибоедов пустил в него чубуком. Товарищи заключения так и думали, что ему после того несдобровать.

Что же вышло? Через полчаса или менее дверь полуотворилась и надсмотрщик спрашивает:

– Александр Сергеевич, вы еще сердиты или нет?

– Нет, братец, нет! – отвечал Грибоедов, рассмеявшись.

– Войти можно?

– Можно.

– И чубуком пускать не будете?

– Нет, не буду!

Допрашивать его водили в крепость. На первом же допросе Грибоедов начал, письменно отвечая на данные ему вопросные пункты, распространяться о заговорщиках: «Я их знаю всех» и пр. В эту минуту к его столу подошло одно влиятельное лицо (все тот же Любимов) и взглянуло на бумагу.

– Александр Сергеевич! Что вы пишете! – сказал подошедший. – Пишите: «Знать не знаю, ведать не ведаю».

Грибоедов так и сделал, да еще написал ответ довольно резкий. «За что меня взяли – не понимаю; у меня старуха-мать, которую это убьет, и пр.». По прочтении этого отзыва заключили, что не только против него нет никаких улик, но что человек должен быть прав, потому что чуть-чуть не ругается».

Четыре месяца пришлось Грибоедову провести в заключении, находя утешение лишь в чтении и занятиях, о чем свидетельствуют его записочки друзьям, исполненные просьб прислать то «Чайльд Гарольда», то стихотворения Пушкина, то карту Греции, то какую-то «Тавриду» Боброва, то «Дифференциальное исчисление» Франкёра.

В первых числах июня 1826 года Грибоедов, совершенно оправданный, был освобожден из-под ареста, обласкан императором Николаем Павловичем и награжден чином надворного советника.

После освобождения Грибоедов поселился с Булгариным на даче, в уединенном домике на Выборгской стороне, и прожил там лето, видаясь лишь с близкими людьми и проводя время в чтении, в дружеской беседе, в занятиях музыкой и прогулках, совершая частые экскурсии по окрестностям, «странствуя по берегу морскому, переносясь то на верх Дудоровой горы, то в пески Ораниенбаума». Расположение духа его было в это время по большей части крайне унылое, что отражалось и на его музыкальных импровизациях, исполненных глубокого чувства меланхолии. Часто, по словам Булгарина, он бывал недоволен собою, сетовал, что мало сделал для словесности. «Время летит, любезный друг, – говорил он, – в душе моей горит пламя, в голове рождаются мысли, а между тем я не могу приняться за дело, ибо науки идут вперед, и я не успеваю даже учиться, не только работать. Но я должен что-нибудь сделать… сделаю!..» Грибоедов указывал на Байрона, Гёте, Шиллера, которые оттого именно вознеслись выше своих современников, что гений их равнялся учености. Грибоедов судил здраво, беспристрастно и с особенным жаром. У него навертывались слезы, когда он говорил о бесплодной почве нашей словесности: «Жизнь народа, как жизнь

человеческая, есть деятельность умственная и физическая. Словесность – мысль народа об изящном.

Греки, римляне, евреи не погибли оттого, что оставили по себе словесность, а мы… мы не пишем, а только переписываем! Какой результат наших литературных трудов по истечении года, столетия? Что мы сделали и что могли бы сделать!» Рассуждая об этих предметах, Грибоедов становился грустен, угрюм, брал шляпу и уходил один гулять в поле или рощу…

Расположение духа Грибоедова еще более омрачилось, когда по приезде в Москву ему снова пришлось почувствовать над собою властную руку матери, не переставшей заботиться о его карьере и питать насчет него честолюбивые замыслы, которых он был совсем чужд, от всей души желая выйти в отставку и всецело отдаться литературной деятельности. Эти заботы о сыне имели к тому же и своекорыстный характер: страсть к блеску и жизнь не по средствам успели к этому времени принести свои плоды, и старуха находилась в столь критическом положении, что единственный выход избежать грозившей нужды видела в служебной карьере сына. А для такой карьеры, с ее точки зрения, представлялся отличный случай. Как раз в это время Ермолов впал в немилость, и на Кавказ был послан Паскевич, сначала как лицо второстепенное, но с тем, чтобы – все это понимали – заменить Ермолова. Паскевич же, как мы уже видели выше, был женат на двоюродной сестре Грибоедова, и Настасья Федоровна не сомневалась, что он не преминет всячески возвысить своего родственника. Видя же, что сын противится ее планам, она употребила хитрость, прекрасно ее характеризующую: пригласила его с собой помолиться Иверской Божией Матери. Приехали, отслужили молебен. Вдруг она упала перед сыном на колени и стала требовать, чтобы он согласился на то, о чем она будет просить. Растроганный и взволнованный, Грибоедов дал слово. Тогда она объявила ему, чтоб он ехал служить к Паскевичу.

Данное слово, то сыновнее почтение, с каким всегда относился Грибоедов к матери, и затруднительное финансовое положение заставили его сделать шаг, который был не только противен его страстному желанию освободиться от всякой службы, но поставил его в крайне ложное нравственное положение и бросил на него немалую тень. Ермолов был для Грибоедова более чем начальник по службе: старик любил его, как сына, оказывая ему всяческое покровительство, и только что спас от грозившей опасности, предупредив заблаговременно об аресте, за что и сам мог подвергнуться ответственности. Ввиду всего этого согласие Грибоедова служить у Паскевича, состоявшего во враждебных отношениях с Ермоловым, было

тяжкой изменой не только благодетелю и другу, но и всем заветным убеждениям, так как не сам ли Грибоедов смеялся над Фамусовым за то, что при нем:

Служащие чужие очень редки,
Все больше сестрины, свояченицы детки.

В довершение всего Грибоедов лишен был и того утешения, что, поступая на службу к Паскевичу, выбирает начальника более полезного и достойного, чем Ермолов. Напротив, он сознавал почти совсем противоположное, когда по пути на Кавказ говорил Д.В. Давыдову:

«Каков мой-то (зять)! Как, вы хотите, чтобы этот человек, которого я хорошо знаю, торжествовал бы над одним из самых умнейших и благонамереннейших людей в России (т. е. Ермоловым); верьте, что *наш* его проведет, и этот, приехав впопыхах, уедет отсюда со срамом».

Говоря такие слова, Грибоедов выражал как бы свою задушевную надежду, что авось само собою все устроится и ему не придется краснеть ни перед другими, ни перед своею совестью. Но его желание остаться чистым, не прилагая к этому ни малейших усилий воли со своей стороны, увы, не сбылось, и он упал в мнении многих из своих современников, уважавших его и поклонявшихся до того времени многим прекрасным качествам его души. Так, например, вот что говорит между прочим в своих воспоминаниях Д.В. Давыдов: «Находясь с ним долго в весьма близких отношениях, я, более чем кто-нибудь, был глубоко огорчен его действиями в течение 1826 и 1827 годов. Грибоедов, терзаемый под конец своей жизни бесом честолюбия, затушил в сердце своем чувство признательности к лицам, не могшим быть ему более полезными, но зато он не пренебрег никакими средствами для приобретения полного благоволения особ, кои получили возможность доставить ему средства к удовлетворению его честолюбия; это не мешало ему, посещая наш круг, строго судить о своих новых благодетелях… Видя поведение Грибоедова, которого я так любил, я душевно скорбел.

Я сожалел, что не мог быть в это время вдали от театра его деятельности, потому что имел бы утешение думать, что многое преувеличено завистью и клеветой; но я, к сожалению, должен был лично удостовериться в том, что душевные свойства Грибоедова далеко не соответствовали его блистательным умственным способностям».

Мы не беремся решить, смягчается или, напротив, еще более усугубляется суровость этого приговора тем соображением, что на

самом деле даже не личное честолюбие, как думал Давыдов, привело Грибоедова к ложному шагу, а насильное подчинение честолюбию родных и бессилие отстоять свою нравственную независимость.

Особенно тяжелые нравственные муки должен был испытывать Грибоедов по возвращении на Кавказ, пока Ермолов не был еще отозван и разделял власть с Паскевичем. «Милый друг мой, – пишет он об этом своем положении между двух огней Бегичеву 9 декабря 1826 года, – плохое мое житье здесь. На войну не попал, потому что и А. П. Ермолов туда не попал. А теперь другого рода война. Два старшие генерала ссорятся, а с подчиненных перья летят. С А. П. у меня род прохлаждения прежней дружбы. Денис Васильевич Давыдов этого не знает; я не намерен вообще давать это замечать, и ты держи про себя. Но старик наш – человек прошедшего века. Несмотря на все превосходство, данное ему от природы, подвержен – страстям. Соперник ему глаза колет, а отделаться от него он не может и не умеет. Упустил случай выставить себя с выгодной стороны в глазах соотечественников, слишком уважал неприятеля, который этого не стоит. Вообще война с персиянами самая несчастная, медленная и безвыходная. Погодим, посмотрим…

Я на досуге кое-что пишу… Я принял твой совет; перестал умничать… со всеми видаюсь, слушаю всякий вздор и нахожу, что это очень хорошо. Как-нибудь дотяну до смерти, а там увидим, больше ли толку, тифлисского или петербургского…

Буду ли я когда-нибудь независимым от людей? Зависимость от семейства, другая – от службы, третья – от цели в жизни, которую себе назначил, и, может статься, наперекор судьбе. Поэзия!.. Люблю ее без памяти, страстно, но любовь одна достаточна ли, чтоб себя прославить? И наконец, что слава? По словам Пушкина,

Лишь яркая заплата
На ветхом рубище певца.

Кто нас уважает, певцов истинно вдохновенных, в том краю, где достоинство ценится в прямом содержании по числу орденов и крепостных рабов? Все-таки Шереметев у нас затмил бы Омира… Мученье быть пламенным мечтателем в краю вечных снегов. Холод до костей проникает, равнодушие к людям с дарованием; но всех равнодушнее наши Сардары; я думаю даже, что они их ненавидят. Voyons, ce qui en sera (Посмотрим, что из этого выйдет)…»

В таком тяжелом душевном настроении Грибоедов

сопровождал своего нового начальника Паскевича во время персидской кампании, начавшейся еще при Ермолове нападением Аббаса-Мирзы на русские владения. Он участвовал в выработке плана кампании и во всех важнейших битвах.

Принц Аббас-Мирзы, наследник персидского престола. Неизвестный художник, первая четверть XIX в.

Первое свидание И.Ф. Паскевича с наследником персидского престола Аббас-Мирзою в Дейкаргане 21 ноября 1827 г. (пятый справа – Грибоедов). Гравюра К.П. Бегерова с оригинала В.И. Мошкова, конец 1820-х гг.

Вот что впоследствии, у князя В.Ф. Одоевского, в присутствии Кс. Полевого, рассказывал Грибоедов о своих ощущениях, испытанных им тогда под градом неприятельского огня.

«Грибоедов утверждал, – пишет Кс. Полевой, – что власть его ограничена только физическою невозможностью, но что во всем другом человек может повелевать собою совершенно и даже сделать из себя все. «Разумеется, – говорил он, – если бы я захотел, чтобы у меня был нос длиннее или короче, это было бы глупо, потому что невозможно, но в нравственном отношении, которое бывает иногда обманчиво-физическим для чувств, можно сделать из себя все. Говорю так потому, что многое испытал над самим собою. Например, в последнюю персидскую кампанию во время одного сражения мне случилось быть вместе с князем Суворовым. Ядро с неприятельской батареи ударилось подле князя, осыпало его землей, и в первый миг я подумал, что он убит.

Это разлило во мне такое содрогание, что я задрожал. Князя только оконтузило, но я чувствовал невольный трепет и не мог прогнать гадкого чувства робости. Это ужасно оскорбило меня самого. Стало быть, я трус в душе? Мысль нестерпимая для

порядочного человека, и я решился, чего бы то ни стоило, вылечить себя от робости, которую, пожалуй, припишете физическому составу, организму, врожденному чувству. Но я хотел не дрожать перед ядрами, в виду смерти, и при случае стал в таком месте, куда доставали выстрелы с неприятельской батареи. Там сосчитал я назначенное мною самим число выстрелов и потом тихо поворотил лошадь и спокойно отъехал прочь. Знаете ли, что это прогнало мою робость? После я не робел ни от какой военной опасности. Но поддайся чувству страха – оно усилится и утвердится».

После этого Грибоедов выказывал такую неустрашимость в продолжение всей дальнейшей кампании, что обратил своею храбростью внимание Паскевича, который в письме к матери Грибоедова извещал ее: «Наш слепой (т. е. близорукий) совсем меня не слушается: разъезжает себе под пулями, да и только!»

Война окончилась Туркманчайским миром, следствием которого было присоединение к России северо-восточной Армении. В переговорах о мире Грибоедов принимал деятельное участие. Он посетил Аббаса-Мирзу в его лагере и, несмотря на все уловки и увертки персидских сановников, презирая происки Аллаяр-хана, зятя Фетх-Али-шаха и главного виновника войны, привел переговоры к желаемому окончанию: 10 февраля 1828 года мир был подписан. На Грибоедова возложил Паскевич поднесение государю Туркманчайского договора.

На пути в Петербург, проезжая через Москву, Грибоедов заезжал часа на два к С.Н. Бегичеву и между прочим сообщил, что Паскевич спрашивал его, какого награждения он желает. «Я просил графа, – говорил Грибоедов, – представить меня только к денежному награждению. Дела матери моей расстроены, деньги мне нужны, я приеду на житье к тебе. Все, чем я до сих пор занимался, – для меня дела посторонние. Призвание мое – кабинетная жизнь. Голова моя полна, и я чувствую необходимую потребность писать».

Тогда же, словно нарочно для того, чтобы испить до дна горькую чашу измены и почувствовать весь ее яд, Грибоедов «имел бестактность», по собственному его выражению, сделать визит А. П. Ермолову. Последний, еще в бытность на Кавказе сетовавший: «И он, Грибоедов, оставил меня, отдался моему сопернику!» – естественно, принял его угрюмо и холодно. Это побудило Грибоедова сказать Бегичеву: «Я личный злодей Ермолова!» (то есть что старик глядит на него как на врага). «Этого я себе простить не могу! – говорил Грибоедов в Петербурге некоторым, между прочим П. А. Каратыгину. – Что мог подумать Ермолов? Точно я похвастаться хотел, а, ей Богу, заехал к нему по

старой памяти!»

В Петербург приехал Грибоедов 14 марта 1828 года и остановился в гостинице Демут. Здесь ждали его самые лестные для всякого другого почести: император пожаловал вестнику о мире чин статского советника, орден Св. Анны, алмазами украшенный, и четыре тысячи червонцев.

Но, осыпаемый со всех сторон поздравлениями друзей, любезностями знати и лестью скороспелых поклонников всякого успеха, Грибоедов продолжал ощущать в своей душе гнетущую тоску. Казалось, он предчувствовал, что всеми этими почестями дело не ограничится и что дипломатическая карьера его на Востоке грозит затянуться до бесконечности. А он так жаждал покоя, независимости и полного досуга, тем более что творчество пробуждалось в нем с новою силою и неудержимо влекло его к перу. Во время последнего пребывания на Кавказе, под свист неприятельских пуль, он задумал новое произведение, на этот раз трагедию в шекспировском духе, «Грузинская ночь». Вот что вспоминает Булгарин об этом новом предприятии Грибоедова: «Во время военных и дипломатических занятий Грибоедов, в часы досуга, уносился душою в мир фантазии. В последнее пребывание свое в Грузии он сочинил план романтической трагедии и несколько сцен вольными стихами с рифмами. Трагедию назвал он „Грузинская ночь“, почерпнул предмет ее из народных преданий и основал на характере и нравах грузин. Вот содержание: один грузинский князь за выкуп любимого коня отдал другому князю отрока, раба своего. Это было делом обыкновенным, и потому князь не думал о следствиях. Вдруг является мать отрока, бывшая кормилица князя, няня дочери его, упрекает его в бесчеловечном поступке, припоминает службу свою и требует или возврата сына, или позволения быть рабою одного господина, и угрожает ему мщением ада. Князь сперва гневается, потом обещает выкупить сына кормилицы и наконец, по княжескому обычаю, забывает обещание. Но мать помнит, что у нее отторжено от сердца детище, и как азиатка умышляет жестокую месть. Она идет в лес, призывает Дели, злых духов Грузии, и составляет адский союз на пагубу рода своего господина. Появляется русский офицер в доме, таинственное существо по чувствам и образу мыслей. Кормилица заставляет Дели вселить любовь к офицеру в питомице своей, дочери князя. Она уходит с любовником из родительского дома. Князь жаждет мести, ищет любовников и видит их на вершине горы Св. Давида. Он берет ружье, прицеливается в офицера, но Дели несут пулю в сердце его дочери. Еще не свершилось мщение озлобленной кормилицы! Она требует ружье, чтоб поразить князя, – и убивает

своего сына. Бесчеловечный князь наказан был за презрение чувств родительских и познает цену потери детища. Злобная кормилица наказана за то, что благородное чувство осквернила местию. Оба гибнут в отчаянии. Трагедия, основанная, как выше сказано, на народной грузинской сказке, если б была так кончена, как начата, составила бы украшение не только одной русской, но всей европейской литературы. Грибоедов читал нам наизусть отрывки, и самые холодные люди были растроганы жалобами матери, требующей возврата сына у своего господина. Трагедия сия погибла вместе с автором!..

Н.И. Греч, услышав отрывки из этой трагедии и ценя талант Грибоедова, сказал в его отсутствие: «Грибоедов только испробовал перо на комедии „Горе от ума“. Он займет такую степень в литературе, до которой еще никто не приближался у нас: у него, сверх ума и гения творческого, есть душа, а без этого нет поэзии!»

Во время этого своего последнего недолгого пребывания в Петербурге Грибоедов, тяготясь великосветским обществом, любил посещать литературные кружки, где не раз читал отрывки из «Грузинской ночи». Так, Кс. Полевой вспоминает об одном обеде у П.П. Свиньина, где он встретил Грибоедова.

«В назначенный день, – повествует Полевой, – (помню, что было на Пасхе) я нашел у гостеприимного Павла Петровича много людей замечательных. Кроме нескольких знатных особ, приятелей его, тут был, можно сказать, цвет нашей литературы: И.А. Крылов, Пушкин, Грибоедов, Н.И. Греч и другие. Грибоедов явился вместе с Пушкиным, который уважал его как нельзя больше и за несколько дней сказал мне о нем: *«Это один из самых умных людей в России. Любопытно послушать его».* Можно судить, с каким напряженным вниманием наблюдал я Грибоедова!.. Он был в каком-то недовольстве, в каком-то раздражении (казалось мне) и посреди общих разговоров отпускал только острые слова. За столом разговор завязался о персиянах, что было очень естественно в обществе Грибоедова, который знал персиян во всех отношениях, еще недавно расстался с ними и готовился опять к ним ехать. Он так живо и ловко описывал некоторые их обычаи, что Н.И. Греч очень кстати сказал при том, указывая на него: «Monsieur est trop perçant (persan)»[15]… Вечером, когда кружок гостей стал теснее, Грибоедов был гораздо мягче и с самою доброю готовностью читал наизусть отрывок из своей трагедии «Грузинская ночь», которую сочинял тогда…»

Через несколько дней Кс. Полевой видел Грибоедова на обеде у Н.И. Греча, где Грибоедов аккомпанировал Този и еще какому-то итальянцу.

«Некоторые, – рассказывает Кс. Полевой, – поздравляли его с успехами по службе и почестями, о чем ярко напоминали брильянты, украшавшие грудь поэта. Другие желали знать, как он провел время в Персии. „Я там состарился, – отвечал Грибоедов, – не только загорел, почернел, почти лишился волос на голове, но и в душе не чувствую прежней молодости!“

За столом он не вмешивался в литературные споры, чувствовал себя нездоровым и уехал вскоре после обеда…»

Как-то в мае Кс. Полевой зашел к Грибоедову, который жил тогда в доме Косиковского на Невском, в верхнем этаже. Обстановка у Грибоедова была самая простая; один рояль украшал комнаты. Застав светских гостей, Полевой хотел уйти. Грибоедов уговорил его остаться. Гости ушли.

«Боже мой, – сказал Грибоедов тогда, – чего эти господа хотят от меня? Целое утро они сменяли один другого. А нам, право, не о чем говорить; у нас нет ничего общего. Пойдемте скорее гулять, чтобы опять не блокировали меня… Да можно ли идти таким варваром? – прибавил Грибоедов, глядясь в зеркало. – Они не дали мне и выбриться.

– Кто же станет замечать это? – сказал я.

– Все равно: приличия надобно наблюдать для самого себя, но я нарушу их на этот раз.

Мы отправились в Летний сад, и разговор продолжался об утренних посещениях. Грибоедов так остроумно рассуждал о людях, которые вдруг, неожиданно делаются вежливы, внимательны к человеку, прежде совершенно чуждому для них, что я, смеясь, сказал ему:

– Тем лучше, это предмет для другого «Горя от ума»!

– О, если на такие предметы писать комедии, то всякий день являлось бы новое «Горе от ума».

– В самом деле: как не находят предметов для комедий? Они всякий день вокруг нас. Остается только труд писать.

– В том-то и дело. Надобно *уметь писать.* Разговор обратился к искусству, и Грибоедов сказал:

– Многие слишком долго приготовляются, собираясь написать что-нибудь, и часто все оканчивается у них сборами. Надобно так, чтобы *вздумал* и *написал.*

– Не все могут так сделать. Только Шекспир писал *наверное.*

– Шекспир писал очень просто: немного думал о завязке, об интриге и брал первый сюжет, но обрабатывал его по-своему. В этой работе он был велик. А что думать о предметах! Их тысячи, и все они хороши: только умейте пользоваться».

Советуя читать Шекспира в подлиннике, Грибоедов сказал: «Выучиться языку, особливо европейскому, почти нет труда:

надобно только несколько времени прилежания. Совестно читать Шекспира в переводе, если кто хочет вполне понимать его, потому что, как все великие поэты, он непереводим, и непереводим оттого, что национален. Вы непременно должны выучиться по-английски». Затем Грибоедов особенно хвалил Шекспирову «Бурю» и находил в ней красоты первоклассные… Около того же времени в театре было представление «Волшебной флейты» Моцарта, и исполняли ее прескверно. «Грибоедов сидел в ложе, с одним знакомым ему семейством, но в каждый антракт приходил в кресла побранить певцов.

– Я ничего не понимаю: так поют они! – говорил он не раз.

– И зачем браться за Моцарта? С них было бы и Буальдье! – прибавил кто-то.

– А что вы думаете: Буальдье достоин этих певцов? – сказал Грибоедов. – Он не гениальный, но милый и умный композитор; не отличается большими мыслями, но каждую свою мысль обрабатывает с необыкновенным искусством. У нас испортили его «Калифа Багдадского», а это настоящий брильянтик. Музыка Моцарта требует особенной публики и отличных певцов, даже потому, что механическая часть ее не богата средствами. Но выполните хорошо музыку Буальдье – все поймут ее. А теперь посмотрите, как восхищаются многие, хоть ничего не понимают! Это больше портит, нежели образует вкус публики».

Приводимые Кс. Полевым рассуждения Грибоедова о Шекспире показывают, как сильно в это время (замечательно, что почти одновременно с Пушкиным) был увлечен Грибоедов великим британским трагиком. Нет сомнения, что переход к трагедии «Грузинская ночь» был всецело плодом этого увлечения. Многознаменателен и тот факт, что Грибоедов особенно отмечал «Бурю» Шекспира. Именно под впечатлением таких произведений, как «Буря» и «Сон в летнюю ночь», Грибоедов отвел столь много места в своей трагедии грузинской мифологии, как об этом свидетельствуют современники, которым он читал свое новое произведение.

Тогда же Грибоедов два раза побывал у старого своего приятеля П.А. Каратыгина, и к этому же времени относится, по всей вероятности, не помеченное годом замечание М.И. Глинки в его записках: «Провел около целого дня с Грибоедовым, автором комедии „Горе от ума“. Он был очень хороший музыкант и сообщил мне тему грузинской песни, на которую вскоре потом Пушкин написал романс „Не пой, волшебница, при мне“…»К этому же времени относятся и последние хлопоты Грибоедова о постановке на сцене комедии «Горе от ума». усилия эти остались по-прежнему безуспешны.

Глава VI
Назначение Грибоедова министром-резидентом в Персию. – Путешествие на Кавказ. – Взгляд Грибоедова на женщин. – Женитьба Грибоедова на Нине Александровне Чавчавадзе. – Отъезд в Тегеран. – Раздражение персиян против русского посольства и его причины. – Мятеж и избиение миссии. – Погребение. – Судьба вдовы Грибоедова

Не удалось Грибоедову получить и столь страстно и давно желаемое освобождение от службы. Вместо этого министр иностранных дел обратился к нему с предложением ехать в Персию в качестве поверенного в делах. Желая отделаться от такой миссии, Грибоедов пустился в разъяснения, что России необходимо иметь в Персии полномочного посла, чтобы не уступать шагу английскому послу. Он делал это в уверенности, что таким способом отвратит надвигавшуюся на него тучу, так как на такую высокую должность назначат человека чиновнее его. Министр же улыбнулся на доводы Грибоедова и замолчал, полагая, что Грибоедов желает иметь титул посла из честолюбия. И вот через несколько дней, именно 15 апреля, Грибоедова пригласили к министру и объявили ему о назначении министром-резидентом в Персию. Первым секретарем при нем назначили Мальцева, вторым – Аделунга. Генеральным консулом в Тавризе сделали Амбургера и секретарем при нем – Иванова. После этого назначения на душе у Грибоедова наступила черная ночь, и он весь преисполнился зловещими предчувствиями. Так, тотчас же от министра он отправился к Жандру и, извещая его о назначении, заметил: «Нас там всех перережут. Аллаяр-хан личный мой враг; не подарит он мне Туркманчайского трактата!..»

То же самое говорил Грибоедов перед отъездом Кс. Полевому: «Я уже столько знаю персиян, что для меня они потеряли свою

поэтическую сторону. Вижу только важность и трудность своего положения среди них и, главное, не знаю сам, отчего мне удивительно грустно ехать туда! Не желал бы я увидеть этих старых моих знакомых!»

В первых числах июня Грибоедов выехал наконец из Петербурга, чтобы никогда уже более не возвращаться в него.

«Грустно провожали мы Грибоедова, – рассказывал А.А. Жандр. – До Царского Села провожали только двое: А.В. Всеволожский и я. Вот в каком мы были тогда настроении духа: у меня был прощальный завтрак; накурили, надымили страшно, наконец толпа схлынула, мы остались одни. День был пасмурный и дождливый. Мы проехали до Царского Села и ни один из нас не сказал ни слова. В Царском Селе Грибоедов велел, так как дело было уже к вечеру, подать бутылку бургонского, которое он очень любил, бутылку шампанского и закусить. Никто ни до чего не дотронулся. Наконец простились. Грибоедов сел в коляску; мы видели, как она повернула за угол улицы, возвратились с Всеволожским в Петербург и во всю дорогу не сказали друг с другом ни одного слова, – решительно ни одного!»

В Туле Грибоедов пробыл три дня у Бегичева и был очень мрачен. С.Н. Бегичев заметил ему это, и Грибоедов, взявши его за руку, сказал с глубокой горестью:

– Прощай, брат Степан! Вряд ли мы с тобою более увидимся!..

– К чему эти мысли и эта ипохондрия? – возразил Бегичев. – Ты бывал и в сражениях, но Бог тебя миловал.

– Я знаю персиян, – отвечал Грибоедов, – Аллаяр-хан мой личный враг, он меня уходит! Не подарит он мне заключенного с персиянами мира!

С Екатериноградa началось путешествие Грибоедова с его подчиненными Мальцевым и Аделунгом. В Екатериноградe они имели задержку по случаю найма лошадей и ожидания конвоя. Вечером Грибоедов с Аделунгом отправились полюбоваться панорамой Кавказских гор. Грибоедов был в восхищении и поминутно восклицал: «Comme c'est beau, comme c'est magnifique!»[16]

«Мы возвратились, – пишет Аделунг, – вдоль Малки, которая здесь довольно быстра. В этот очаровательный вечер я еще сильнее полюбил Грибоедова: как он умеет наслаждаться природой, как он симпатичен и добр!»

30 июня Грибоедов выехал из Екатериноградa с конвоем из 20 линейных казаков и на другой день прибыл во Владикавказ, где угощался у полковницы Огаревой.

2 июля он двинулся из Владикавказа в Тифлис. От Ларса поехали верхом и 3-го числа добрались до Казбека, затем в Коби

встретил Грибоедова майор Чиляев, у которого и обедали. Выехали в сумерки, но возвратились, ибо узнали о выезде 300 разбойников. В Ананауре 4 июля Грибоедов принужден был, спасаясь от блох, спать в коляске.

В Душете, в доме путейского полковника, у которого Грибоедов пил чай, к нему явились с приветствием местные чиновники, облекшиеся по этому случаю в полную парадную форму и представлявшие собою довольно комические типы.

Приехав в Гартискар, Грибоедов расположился обедать на ковре, разостланном под густой сенью старого дуба. На этой станции, последней на пути его к Тифлису, он был встречен многими выехавшими из города верхом и на дрожках чиновниками, число которых при дальнейшем его следовании все увеличивалось. Наконец около девяти часов вечера Грибоедов прибыл в город и остановился в доме, занимаемом графом Паскевичем, в специально приготовленных для него комнатах.

В Тифлисе Грибоедова ожидало великое событие, озарившее ярким светом последние дни его жизни, напомнив в этом отношении известные два стиха элегии Пушкина:

> И, может быть, на мой закат печальный
> Блеснет любовь улыбкою прощальной.

Имея большой успех среди женщин, Грибоедов до тех пор не испытывал еще ни одной глубокой и сильной привязанности. По словам А.А. Бестужева, Грибоедов не любил женщин. «Женщина есть мужчина-ребенок», – было его мнение. Слова Байрона: «Дайте им пряник да зеркало – и они будут совершенно довольны», ему казались весьма справедливыми. «Чему от них можно научиться? – говаривал он. – Они не могут быть ни просвещенны без педантизма, ни чувствительны без жеманства. Рассудительность их сходит в недостойную расчетливость и самая чистота нравов – в нетерпимость и ханжество. Они чувствуют живо, но не глубоко. Судят остроумно, только без основания, и, быстро схватывая подробности, едва ли могут постичь, обнять целое. Есть исключения, зато они редки; и какой дорогой ценой, какой потерею времени должно покупать приближение к этим феноменам! Словом, женщины сносны и занимательны только для влюбленных. Они предназначены самой природою для мелочей домашней жизни, равно по силам телесным, как и умственным. Надобно, чтоб они жили больше для мужей и детей своих, чем невестились и ребячились для света. Если б мельница дел общественных меньше вертелась от вееров, дела шли бы прямее и единообразнее; места не доставались бы по прихотям и

связям родственным или меценатов в чепчиках, всегда готовых увлекаться наружностью лиц и вещей; покой браков был бы прочнее, а дети умнее и здоровее. Сохрани меня Бог, чтоб я желал лишить девиц воспитания, напротив, заключив их в кругу теснейшем, я бы желал дать им познания о вещах гораздо основательнее нынешних».

При таких взглядах на женщин как нельзя более естественно, что Грибоедов предпочел в качестве своей суженой женщину Востока тем великосветским жеманницам своего времени, черты коих он запечатлел в образе Софьи Фамусовой. Жена его Нина Александровна, урожденная княжна Чавчавадзе, принадлежала к старинному роду грузинских князей, в особенности выдвинувшихся за последние два царствования царей грузинских Ираклия II и Георгия XII.

Отец Нины Александровны, единственный сын Гарсевана Чавчавадзе, заботам которого Грузия была обязана присоединением к России, князь Александр, родился в Петербурге, был крестником императрицы Екатерины, получил прекрасное по тогдашним меркам образование и, вступив в военную службу, участвовал в войне 1812 года. Перейдя затем в кавказские войска, занимал видные административные посты и с замечательными качествами общественного деятеля соединял горячую любовь к своей родине и блестящее дарование поэта. Кроме многих оригинальных его произведений, можно указать на несколько элегий и стансов Пушкина, прелестно переложенных им на грузинский язык; к ним тогда же подобрали грузинские напевы, и до сих пор они остаются любимыми романсами грузинских девушек. Но главная заслуга князя Александра заключалась в том, что он умел дом свой сделать прочным звеном между грузинским обществом и русскими людьми, ехавшими служить на Кавказ. Владеющий в совершенстве как своим родным языком, так и русским, уважаемый и любимый русскими и туземцами, князь был не только прекрасным толмачом между двумя национальностями, но и живым проводником их полного слияния. В доме его царило широкое гостеприимство, а хозяин и хозяйка несли на себе ту особенную печать радушия, которая памятна и до сих пор старикам, проведшим юность свою в Тифлисе. Князь Александр достойно продолжал дело, начатое его отцом. Гарсеван способствовал политическому объединению Грузии и России, а сын его благодаря своему характеру сблизил грузин с русскими. Всякий русский, занесенный на дальнюю чужбину, дышал у него родным воздухом; всякий грузин шел к нему с душою нараспашку; тут они встречались, знакомились и научались понимать и любить друг друга. Переведенный в 1822

году из Персии в Тифлис, Грибоедов в свою очередь не мог не познакомиться с домом Чавчавадзе. Он вскоре близко сошелся с князем Александром, который, сам поэт, более других мог понять и оценить его, и между ними установилась самая искренняя и теплая дружба. На глазах Грибоедова росла и воспитывалась старшая дочь князя Чавчавадзе, Нина (родившаяся в 1812 году, 4 ноября); часто он занимался с ней музыкой; она привыкла не считать его чужим, не стеснялась с ним в детской своей беседе, тем самым обнаруживая все прекрасные качества своего характера и свои способности, и в первую пору своего полного расцвета вызвала в душе его сильное и глубокое чувство любви, присущее лишь человеку, вступавшему в возраст зрелости. Грибоедов женился, когда ему было 33 года, а Нине Александровне не было еще и шестнадцати.

Она была в полном смысле слова красавица: стройная, грациозная брюнетка, с чрезвычайно приятными и правильными чертами лица, с темно-карими глазами, очаровывающими всех добротою и кротостью. Грибоедов иначе не называл ее, как Мадонной Мурильо.

По приезде в Тифлис Грибоедов отправился первым делом на главную квартиру Паскевича, ведшего в то время успешно турецкую войну и только что взявшего Каре. Оттуда он вернулся в Тифлис, где снова увиделся с любимой девушкой и тотчас же приступил к сватовству. Вот как описывает он это в письме к Ф.В. Булгарину от 24 июня 1828 года:

«Это было 16-го. В этот день я обедал у старинной приятельницы (Ахвердовой), за столом сидел против Нины Чавчавадзевой (второй том Леночки[17]), все на нее глядел, задумался, сердце забилось, не знаю, беспокойство ли другого рода, по службе, теперь необыкновенно важной, или что другое придало мне решительность необычайную; выходя из-за стола, я взял ее за руку и сказал ей: «Venez avec moi, j'ai quelque chose à vous dire».[18] Она меня послушалась, как и всегда; верно, думала, что я ее усажу за фортепиано; вышло не то; дом ее матери возле, мы туда уклонились, взошли в комнату, щеки у меня разгорелись, дыхание занялось, я не помню, что я начал ей бормотать, и все живее и живее, она заплакала, засмеялась, я поцеловал ее, потом к матушке ее, к бабушке, к ее второй матери, Прасковье Николаевне Ахвердовой, нас благословили, я повис у нее на губах во всю ночь и весь день, отправил курьера к ее отцу в Эривань с письмами от нас обоих и от родных.

Между тем вьюки мои и чемоданы изготовились, все вновь уложено на военную ногу. Во вторую ночь я, без памяти от всего, что со мной случилось, пустился опять в отряд, не оглядываясь

назад. На дороге получил письмо летучее от Паскевича, которым он меня уведомлял, что намерен сделать движение под Ахалкалаки. На самой крутизне Безобдала гроза сильнейшая продержала нас всю ночь; мы промокли до костей. В Гумрах я нашел, что уже сообщение с главным отрядом прервано, граф оставил Карский пашалык, а в тылу у него образовались толпы турецких партизан; в самый день моего приезда была жаркая стычка у Басова Черноморского полка в горах, за Арпачаем. Под Гумрами я наткнулся на отрядец из двух рот Козловского, двух рот 7-го Карабинерного и 100 человек выздоровевших, – все это назначено на усиление главного корпуса, но не знали, куда идти; я их тотчас взял всех под команду, четырех проводников из татар, сам с ними и с казаками впереди, и вот уже второй день веду их под Ахалкалаки; всякую минуту ожидаем нападения; коли в целости доведу, дай Бог. Мальцев в восхищении, воображает себе, что он воюет.

В Гумрах же нагнал меня ответ от кн. Чавчавадзева-отца из Эривани; он благословляет меня и Нину и радуется нашей любви…»

Затем в письме Булгарину от 8 сентября 1828 года он пишет:

«Дорогой мой Фадей. Я, по возвращении из действующего отряда сюда, в Тифлис, 6 августа занемог желтой лихорадкой. К 22 получил облегчение. Нина не отходила от моей постели, и я на ней женился. Но в самый день свадьбы, под венцом уже, опять посетил меня пароксизм, и с тех пор нет отдыха; я так исхудал, пожелтел и ослабел, что думаю, капли крови здоровой во мне не осталось».

Бракосочетание состоялось 22 августа вечером, после обеда в честь Грибоедова у Сипягина. Присутствовало на свадьбе 50 человек. Венчание происходило в Сионском соборе, причем Грибоедов в припадке лихорадки потерял одно обручальное кольцо. Из собора все отправились на новую квартиру Грибоедова, где состоялся ужин. Затем следовал ряд празднеств. Так, 24-го был обед у новобрачных на 100 человек, и после обеда танцы длились до 11 часов, а в воскресенье 26-го был бал у Сипягина, который открыл его полонезом с новобрачной, и танцы длились до четырех часов утра.

Наконец 9 сентября Грибоедов выехал со всей своей свитой, с молодой супругой и тещей из Тифлиса к месту своей службы. Торжественные проводы сопровождались звуками полковой музыки… Путь лежал через Коды, Шулаверы, Гергеры и Амамлы на Эривань. Из Эчмиадзина Грибоедов писал своей приятельнице Варваре Семеновне Миклашевич между прочим следующее:

«Друг мой Варвара Семеновна! Жена моя, по обыкновению,

смотрит мне в глаза, мешает писать; знает, что пишу к женщине, и ревнует. Не пеняйте же на долгое молчание, милый друг, видите ли, в какую необыкновенную для меня эпоху я его прерываю. Женат, путешествую с огромным караваном, 110 лошадей и мулов, кочуем под шатрами на высотах гор, где холод зимний. Нинушка моя не жалуется, всем довольна, игрива, весела; для перемены бывают нам блестящие встречи, конница во весь опор несется, пылит, спешивается и поздравляет с счастливым прибытием туда, где бы вовсе быть не хотелось. Нынче нас принял весь клир монастырский в Эчмиадзине, с крестами, иконами, хоругвями, пением, кадильем etc., и здесь, под сводами этой древней обители, первое помышление о вас и об Андрее. Помиритесь с моей ленью…»

«Как это случилось? Где я, что и с кем? Будем век жить, не умрем никогда!» – Слышите? Это жена мне сейчас сказала, ни к чему, – доказательство, что ей шестнадцатый год. Но мне простительно ли, после стольких опытов, стольких размышлений, вновь броситься в новую жизнь, предаваться на произвол случайностей и все далее от успокоения души и рассудка. А независимость, которой я был такой страстный любитель, исчезла, может быть, навсегда, и как ни мило, как ни утешительно делить все с милым, воздушным созданием, но это теперь так светло и отрадно, а впереди так темно, неопределенно! Бросьте вашего Троспера и Куперову «Prairie», – мой роман живой у вас перед глазами и во сто крат занимательнее; главное в нем лицо – друг ваш, неизменный в своих чувствах, но в быту, в роде жизни, в различных похождениях не похож на себя прежнего, на прошлогоднего, на вчерашнего даже; с каждою луною со мною сбывается что-нибудь, о чем не думал, не гадал».

«…Наконец после тревожного дня вечером уединяюсь в свой гарем; там у меня и сестра, и жена, и дочь – все в одном милом личике; рассказываю, натверживаю ей о тех, кого она еще не знает и должна со временем страстно полюбить; вы понимаете, что в наших разговорах имя ваше часто. Полюбите мою Ниночку. Хотите ее знать? В Malmaison, в Эрмитаже, тотчас при входе, направо, есть Мадонна в виде пастушки Murillo, – вот *она.* В Эривани Нина Александровна увиделась и простилась с отцом, который не был у нее на свадьбе».

25 сентября поехали дальше, причем Грибоедов, проезжая через Эривань, говорил жене шутя: «Не оставляй костей моих в Персии; если умру там, похорони меня в Тифлисе, в монастыре Св. Давида».

7 октября прибыли в Тавриз, где должна была остаться Нина Александровна. Здесь Грибоедов пробыл до 4-го или 5 декабря и

затем отправился далее, навеки простясь со своею супругой.

И вот с первых же дней путешествия по персидской территории, совместно с персидской свитой, начались недоразумения, не обещавшие ничего доброго. Русская свита, состоявшая из 16 казаков и 30 человек прислуги из магометан, русских, грузин и армян, была без всякого надзора и своим поведением раздражала персидскую свиту. Хозяйством заведовал Рустем-бек, получавший от персиян ежедневно для пропитания посольства продовольствие на сумму до 75 червонцев. Провизия собиралась персиянами натурою с народа, при проезде, и, если каких-то припасов не оказывалось, Рустем-бек требовал деньги. За время пути он собрал таким образом более 200 червонцев. Персияне были крайне недовольны, полагая, что это делается с ведома Грибоедова, а Грибоедов узнал об этом уже близ Тегерана, когда в одном селении Рустем-бек прибил старика за то, что тот давал ему 9 червонцев вместо 14. Грибоедов тогда же не велел собирать денег и обещал на обратном пути возвратить все собранное, но Рустема оставил при себе.

Во всех городах посольство встречали с почетом. Высшие начальники со свитою выезжали навстречу и подносили ценные подарки. Грибоедов же никому подарков не делал и давал только один или два червонца хозяину дома, где останавливался. Погода была дурная, снег глубок, дороги плохи, и персияне крайне возмущались трудностями и опасностями пути; к тому же лошади беспрестанно падали, и неоднократно приходилось забирать новых у жителей или отымать у проезжих.

В Казвине едва не случилась неприятность, могущая иметь дурные последствия. Грибоедов, встреченный министром Мирзой-ханом с депутацией и свитой, был у него на обеде, а в это время Рустем-бек, узнав, что один из слуг последнего эриванского губернатора из персиян привез оттуда молоденькую немку, стал ее требовать и, выяснив, что она продана одному сеиду (потомку Пророка), и несмотря на то, что она была уже женою этого сеида и имела двух детей, явился к нему с казаками, вытащил на площадь и велел бить палками, требуя освобождения женщины. Народ взволновался, но Мирза-Набби успел остановить экзекуцию, уговорил сеида привести жену с детьми и сообщил обо всем Грибоедову; Грибоедов же, узнав, что немка не желает возвращаться в Грузию, отпустил ее к мужу. На другой день русским удалось возвратить семилетнюю девочку, несмотря на упорство персиян.

Все это вместе взятое возбуждало неудовольствие населения и властей, и молва об этом дошла до Тегерана, конечно, еще до приезда Грибоедова, а потом была подтверждена с

преувеличениями сопровождавшими посольство персиянами.

Посольство приблизилось к Тегерану в злополучное, по мнению персиян, время, ибо Солнце было в созвездии Скорпиона, и в первые же дни, начав выполнять свои посольские обязанности, Грибоедов обнаружил, что взялся за дело, совсем для него не подходящее. Но странно было бы и ждать дипломатических добродетелей вроде такта, уступчивости, вкрадчивости, хитрости, притворства от Грибоедова, с его самолюбием, гордостью и заносчивостью, являвшегося ярким олицетворением модного в то время байроновского типа; к тому же еще во время прежней миссии и затем в военном лагере Паскевича он был крайне озлоблен на персиян и предубежден против них и у него сложилось убеждение, что с ними не следует церемониться, так как от этого они лишь делаются хуже, а надо проявлять к ним полное пренебрежение, обращаться с ними высокомерно, с непреклонной настойчивостью, и только таким образом можно поддержать достоинство и честь русского имени.

В силу этого убеждения Грибоедов с первых же дней пребывания в Тегеране нимало не заботился о соблюдении персидского этикета и на каждом шагу нарушал его. Так, во время первой же аудиенции он просидел час перед шахом, восседавшим в короне и тяжелой одежде, унизанной драгоценными камнями, и шах был очень утомлен столь долгим визитом. Во время второй аудиенции Грибоедов опять просидел очень долго, так что шах в утомлении прекратил аудиенцию, произнеся: «Мураххас» (отпуск). Грибоедов счел это оскорблением и обратился к министру иностранных дел с резкой нотой о неуместности подобного выражения. Объяснением министра он не удовлетворился, а тот со своей стороны обратил внимание Грибоедова на употребление им в корреспонденции звания шаха без титулов.

Между тем как Грибоедов препирался таким образом с шахом и его министрами, слуги его имели беспрестанные столкновения с персиянами. Так, например, слуги одного персиянина избили дядьку Грибоедова, Александра Грибова, а у одного казака разбили бутылку с водкой, за что виновный был строго наказан. На посольскую прислугу все жаловались, особенно на бывших в ее числе армян и грузин. Все это с каждым днем усиливало неприязнь персов к посольству. Особенно же влияли на отношение к миссии требования посланника вернуть русских подданных, взятых в плен и нередко проданных и перепроданных из одних рук в другие, причем владельцы не получали никакой компенсации. Дошло дело до такого явного озлобления, что один из офицеров побоялся продать Мальцеву лошадь, «опасаясь

немилости шаха».

Время отъезда посольства было уже назначено, и шах прислал Грибоедову орден Льва и Солнца 1-й степени, ордена для секретарей и богатые подарки посланнику и всей свите, даже казакам серебряные медали. На другой день состоялась прощальная аудиенция, на которой шах опять употребил слово «мураххас». Замечено было также, что ему неприятно слишком развязное обращение Грибоедова в его присутствии и упорное стремление посланника сидеть перед ним.

Каплею же, переполнившей чашу, послужило столкновение с персидским правительством из-за армянина Мирзы-Якуба, который уже долгое время жил в Персии, заведуя в качестве главного евнуха гаремом шаха. За несколько дней до назначенного срока отъезда Мирза-Якуб явился в посольство и заявил о своем желании возвратиться в Россию. Грибоедов принял в нем участие, но персидское правительство тем энергичнее воспротивилось возвращению Якуба в Россию, что последний много лет был казначеем и главным евнухом, знал все тайны гарема и семейной жизни шаха и мог огласить их.

Шах разгневался; весь двор возопил, как будто случилось величайшее народное бедствие. В день по двадцать раз приходили посланцы от шаха с самыми нелепыми представлениями; говорили, что евнух – то же, что жена шахская, и что, следовательно, посланник отнял жену у шаха; требовали с Якуба огромных денег; утверждали, что он обворовал казну шаха и отпущен быть не может, так как по воле шаха должен подвергнуться духовному суду. Между тем Грибоедов продолжал прилагать все силы для освобождения находившихся в Тегеране пленных. Две пленные армянки были приведены к нему от Аллаяр-хана; Грибоедов допросил их и, когда они объявили о желании ехать в свое отечество, оставил в доме миссии, чтобы потом отправить по принадлежности. Но одно присутствие этих женщин среди мужского населения посольского дома произвело на персиян впечатление неслыханного скандала. В довершение всего до сведения главы духовенства муджтехида Мессиха-мирзы дошло, что Якуб ругает мусульманскую веру. «Как! – говорил муджтехид, – этот человек двадцать лет был в нашей вере, читал наши книги и теперь поедет в Россию, надругается над нашею верою; он – изменник, неверный и повинен смерти!» Также о женщинах доложили ему, что их насильно удерживают в посольском доме и принуждают отступиться от мусульманской веры.

Мессих-мирза отправил ахунов[19] к Шахзаде-Зилли-султану. Они сказали ему: «Не мы писали мирный договор *с* Россией и не

потерпим, чтобы русские разрушали нашу веру; доложите шаху, чтобы нам непременно возвратили пленных». Зилли-султан просил их повременить, обещал обо всем донести шаху. Ахуны пошли домой и дорогой говорили народу: «Запирайте завтра базар и собирайтесь в мечетях: там услышите наше слово!» Вот как далее повествует о событиях следующего дня единственный оставшийся в живых – секретарь посольства Мальцев:

«Наступило роковое 30-е число января. Базар был заперт, с самого утра народ собирался в мечети. „Идите в дом русского посланника, отбирайте пленных, убейте Мирзу-Якуба и Рустема!“ – грузина, находившегося в услужении у посланника. Тысячи народа с обнаженными кинжалами вторгнулись в наш дом и кидали каменья. Я видел, как в это время пробежал через двор коллежский асессор князь Соломон Меликов, посланный к Грибоедову дядею его Манучехр-ханом; народ кидал в него каменьями и вслед за ним помчался на второй и третий дворы, где находились пленные и посланник. Все крыши были уставлены свирепствующей чернью, которая лютыми криками изъявляла радость и торжество свое. Караульные сарбазы (солдаты) наши не имели при себе зарядов, бросились за ружьями своими, которые были складены на чердаке и уже растащены народом. С час казаки наши отстреливались, тут повсеместно началось кровопролитие. Посланник, полагая сперва, что народ желает только отобрать пленных, велел трем казакам, стоявшим у него на часах, выстрелить холостыми зарядами и тогда только приказал заряжать пистолеты пулями, когда увидел, что на дворе начали резать людей наших. Около 15 человек из чиновников и прислуги собрались в комнате посланника и мужественно защищались у дверей. Пытавшиеся вторгнуться силою были изрублены шашками, но в это самое время запылал потолок комнаты, служившей последним убежищем русским: все находившиеся там были убиты низверженными сверху каменьями, ружейными выстрелами и кинжальными ударами ворвавшейся в комнату черни. Начался грабеж: я видел, как персияне выносили на двор добычу и с криком и дракою делили оную между собою. Деньги, бумаги, журналы миссии – все было разграблено…»

Всего убито было тогда 37 человек русских и 19 тегеранских жителей. На другой или на третий день после этого побоища изуродованные трупы убитых были вывезены за городскую стену, брошены там в одну кучу и засыпаны землею без всяких религиозных обрядов. Спустя немного времени тело Грибоедова было отрыто, причем оказалось настолько изуродованным, что он мог быть узнан лишь по сведенному пальцу! Положивши в

простой гроб, покойного отправили в Россию.

Памятник А.С. Грибоедову во дворе русской миссии в Тегеране. Скульптор В.А. Беклемишев, 1900. Фотография начала XX в.

Внутренний дворик армянской церкви на территории русской миссии в Тегеране с братской могилой сотрудников посольства, погибших вместе с Грибоедовым 30 января 1829 г.

30 апреля прах Грибоедова привезли в Гергеры, где гроб видел А.С. Пушкин, упоминающий об этом в своем «Путешествии в Арзрум». На другой день тело было уже в Нахичевани, и вот что писал Амбургер Паскевичу о встрече и проводах останков покойного:

«1 мая, которое всегда приносит с собою радость и веселие, было для нас днем грусти и печали. В этот день наконец тело покойного нашего полномочного министра в Персии было перевезено через Аракс. Генерал-майор Мерлини, полковник Эксан-хан и многие чиновники поехали на встречу оного; вперед был послан из Аббас-Абади священник, один батальон Тифлисского пехотного полка с двумя полевыми орудиями, как и здесь приготовленный балдахин.

Когда мы встретили тело, батальон выстроился в два ряда. Гроб, содержавший бренные останки покойного Грибоедова, находился в тахтиреване, сопровождаемом 50-ю конными, под начальством Кеиб-Али-султана, который остановился посередине. Когда вынули гроб из тахтиревана и уверились, сколько возможно, что он содержит тело покойного министра, отдали ему воинскую честь и отпели вечную память, после чего положили его

в гроб, здесь приготовленный, и поставили на дроги под балдахин. 'Скомандовали «на погребение» – и тихо и величественно началось траурное шествие при звуках печальной музыки.

Дроги, везомые шестью лошадьми, накрытыми траурными попонами, и ведомые людьми в траурных мантиях и шляпах, которых было кроме сих 12 человек, шедшие с факелами по обе стороны гроба, балдахин, хорошо убранный, – все это произвело на всех сильное впечатление, даже на персиян.

Кроме священника русского, выехало навстречу покойному все духовенство армянское под начальством архиерея Парсеха, что еще более придавало величия печальному шествию. Таким образом достигли Аланджичая, где назначен был ночлег.

2мая шествие продолжалось. Когда начинали приближаться к городу, то вышли навстречу генерал-майор Мерлини, полковник Эксан-хан, подполковник Аргутинский, майор Носков, я и переводчик Ваценко и все военные и статские чиновники, которые находились в Нахичевани, и все уже следовали за гробом до церкви. Здесь офицеры сняли гроб с дрог и внесли в церковь, откуда по отслужении панихиды и отпетии вечной памяти все удалились.

Народу было неимоверное множество; мужчины, женщины и дети – все, кажется, принимали живейшее участие в злополучной участи покойного, и нередко слышны были между ними громкие рыдания. Женщины до самого вечера не отходили от церкви; только надобно заметить, что это по большей части были армяне, и такое участие, конечно, делает честь сему народу.

На другое утро, 3 мая, все, которые участвовали прошедшего дня в церемонии, опять собрались в церковь, отслужили обедню, после которой архиерей армянский Парсех говорил речь; по окончании оной отслужил панихиду и отпел вечную память. Тут офицеры Тифлисского пехотного полка попеременно со всеми присутствующими вынесли гроб, пронесли оный посреди в двух рядах выстроенного войска, которое отдало воинскую честь, и поставили на дроги, и шествие опять тихо подвигалось вперед. Стечение народа было еще большее, нежели 2-го числа; трудно было верить, что Нахичевань содержит в себе такое огромное народонаселение. Все находившиеся в церкви, генералы, штаб– и обер-офицеры провожали покойного до второго источника по живописной дороге. Здесь сняли гроб с дрог, войско сформировало каре вокруг оного, и священник русский отслужил панихиду и отпел вечную память; после чего мы все простились с покойным, прикладываясь к кресту на гробе его. Исполнив таким образом последний долг и отдав последнюю честь покойному, все

возвратились в город.

Приятно и трогательно было видеть живое участие, которое все принимали в несчастной кончине покойного Грибоедова, и это ясно доказывает, что кто хотя только один раз с ним повстречался, уже не мог забыть его.

> Долго еще толпы народа с печальными лицами стояли на высотах, окружающих город, и весьма медленно рассыпались…»

Между тем Нина Александровна, ничего не зная о страшной катастрофе, случившейся с мужем, жила в Тавризе полною затворницей, не смея показаться на улицах, так как это было бы соблазном для мусульманок. Единственное утешение находила она в общении с семейством английского консула, жена и дочери которого полюбили ее, как родную, и рассеивали скуку ее музыкой, чтением, рукоделием, беседою. Кроме того, у Нины Александровны гостил родственник ее, отставной драгунский капитан князь Роман Чавчавадзе, носивший когда-то ее на руках, любивший ее, как родную дочь, и присланный сюда ее отцом в качестве пестуна, имеющего необыкновенный дар всюду вносить веселость и смех своим юмором и остроумными затеями. Грибоедов, давнишний его приятель, любил его без памяти и, уезжая в Тегеран, был покоен за жену, оставляя ее на таких руках.

Но, несмотря на это, разлука с мужем становилась все более тягостной для Нины Александровны, и особенно потому, что она была беременна. Прошел месяц… было несколько писем, суливших скорое возвращение, и затем они прекратились. Объясняли это скверными дорогами Персии, неустройством почтовых сообщений и т. п., и вдруг пришло известие о катастрофе.

От Нины Александровны поспешили скрыть беду: спасшийся Мальцев, привезший известие, по наставлению князя Романа уверил Нину Александровну, что Грибоедов здоров, но до того занят, что не имел времени написать к ней ни строчки, а поручил ему передать ей на словах, что дела задержат его в Тегеране надолго и потому он просит ее возвратиться в Тифлис, к своей матушке, и ожидать там его приезда. Нина Александровна колебалась и не знала, на что решиться. Но письмо от отца, подтверждавшее слова Мальцева и извещавшее, что он выехал к ней навстречу, в Джульфу, заставило ее отправиться в путь.

До Тифлиса довезли ее благополучно и сдали на руки матери. Между тем время шло, а писем от мужа по-прежнему не было. Тревога Нины Александровны росла с каждым днем, и

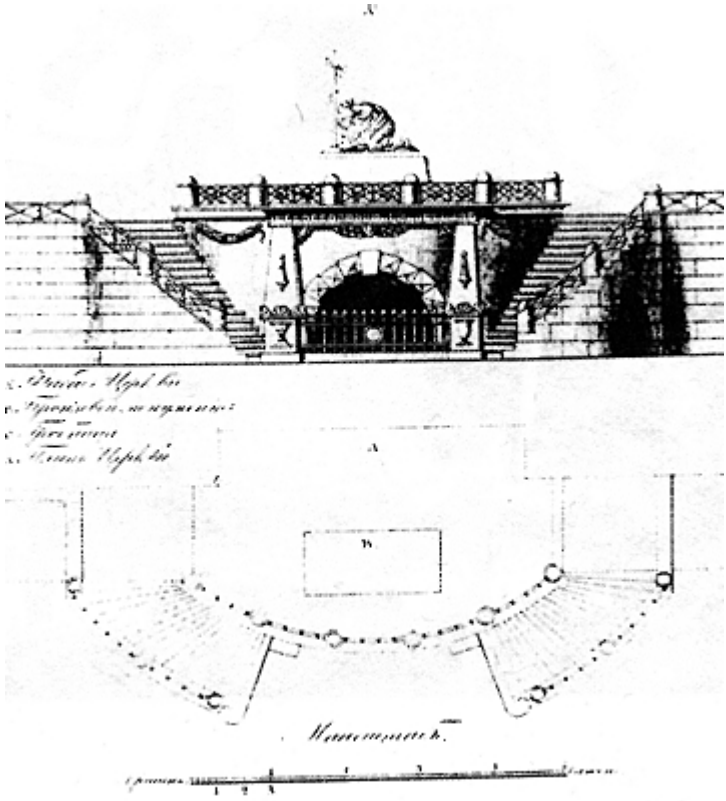
наконец случай раскрыл ей истину. Однажды к ней заехала жена Паскевича и, застав ее одну, стала говорить об отсутствующем Грибоедове и о молчании его, запуталась в своих словах под частыми вопросами встревоженной Нины Александровны и кончила тем, что, расплакавшись, раскрыла несчастной женщине так долго скрываемое от нее. С тою сделался страшный истерический припадок, и на другой день она разрешилась недоношенным ребенком.

Тело Грибоедова прибыло наконец в Тифлис, где и было предано земле близ церкви Св. Давида, согласно желанию Грибоедова, 18 июня 1829 года. На похороны Грибоедова было истрачено всего (с перевозом тела из Тегерана в Тифлис) 210 червонцев и 2366 рублей. Сумма эта по высочайшему повелению была принята на счет государственного казначейства.

На могиле мужа Нина Александровна поставила часовню, а в ней – памятник, изображающий молящуюся и плачущую перед распятием женщину – эмблему ее самой; на памятнике следующая надпись: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской; но для чего пережила тебя любовь моя?»

Награжденная щедрой пенсией (кроме единовременного пособия в 30 тысяч рублей ассигнациями, ей была назначена пенсия в пять тысяч рублей ассигнациями; а в 1849 году, по ходатайству кн. М.С. Воронцова, пенсия была увеличена на 570 рублей 50 копеек, так что вместо прежних пяти тысяч рублей она стала получать две тысячи рублей серебром), шестнадцатилетняя вдова до смерти осталась верна памяти мужа и, отклоняя все блестящие предложения, посвятила жизнь родным, друзьям, знакомым, сделав из нее одно сплошное благотворение. Это был ангел-хранитель всего семейства и в то же время существо, которому поклонялись все служившие тогда на Кавказе, начиная с наместников до самых низших чинов. Ее всегда окружал какой-то особенный ореол благодушия, доступности, умения войти в нужды каждого и сделать эти нужды своими. Когда ей случалось проживать в Тифлисе, редкую неделю не взбиралась она пешком на крутую гору Св. Давида для того, чтобы навестить драгоценный прах. Умерла она 45-ти лет от роду, в 1857 году, от холеры и погребена рядом со своим возлюбленным мужем.

«Извинительная» речь принца Хозрев-Мирзы, произнесенная в Петербурге 10 августа 1829 г. Неизвестный художник, 1829



Проект памятника на могиле Грибоедова, опубликованной в журнале «Московский телеграф» за 1832 г., № 23

Глава VII
Преимущества комедии «Горе от ума» перед прочими произведениями Грибоедова. – Взгляды на нее Белинского, Гончарова и Сенковского. – Общественное, историческое и общечеловеческое значение комедии Грибоедова. – Создал ли Грибоедов школу?

Существуют писатели, литературная деятельность которых привела к созданию целого ряда более или менее гениальных произведений самых различных жанров; таковы, например, Гёте и Шиллер в Германии, В. Гюго во Франции, а у нас Пушкин, Лермонтов, Гоголь. Но есть иного рода гении, вся творческая деятельность и, можно сказать, вся жизнь которых исчерпывается созданием одного великого произведения, которое возносит их на недосягаемую высоту и в продолжение многих веков возвышается величественным памятником человеческого гения, своего рода маяком, ярко освещающим дела и мысли сотен поколений. Таковы Данте со своей «Божественной комедией», Сервантес со своим «Дон Кихотом Ламанчским», Дефо с «Приключениями Робинзона Крузо»; таков и Александр Сергеевич Грибоедов со своей бессмертной комедией «Горе от ума».

Мы видим из фактов жизни Грибоедова, что его литературная деятельность не ограничилась созданием одной этой комедии. Он написал слишком даже много, если принять во внимание непродолжительность его жизни, в которой литературному труду он принужден был уделять очень немного времени. Но все остальное, что оставил Грибоедов после себя, оказывается неизмеримо ниже «Горя от ума», даже самым отдаленным образом не напоминает его знаменитую комедию и не выделяется нисколько из ряда заурядной посредственности. Вместе с тем очень сомнительно, удалось ли бы Грибоедову и в последующей своей жизни, если бы она продлилась долго, написать что-либо

стоящее на одной высоте с «Горем от ума». По крайней мере, мы видим, что трагедия «Грузинская ночь», над которой он работал в последние годы своей жизни, представляла значительное отклонение в сторону. Несмотря на восторженный отзыв о ней Булгарина (не отличавшегося ни вкусом, ни эстетическим чутьем в оценке современных ему изящных произведений и очень часто вносившего в свои оценки личные пристрастия), можно предполагать, что «Грузинская ночь» далеко не имела бы того литературного значения, как «Горе от ума», ибо была внушена впечатлениями жизни чуждого народа, и, судя по фантастическому сюжету и сохранившимся отрывкам не Бог весть какого высокого качества, имела бы, по всей вероятности, характер отвлеченной, чистой художественности в романтическом духе. Даже если бы Грибоедову удалось преуспеть на этом не изведанном еще им поприще, даже если бы трагедия его встала на одну высоту с лучшими изображениями кавказской природы и жизни – а в то время тема Кавказа была в моде в нашей литературе – и не уступала бы нимало ни «Кавказскому пленнику» Пушкина, ни «Мцыри» Лермонтова, то и в таком случае за комедией «Горе от ума» оставалось бы то преимущество, что она была не одним измышлением художественного творчества в духе господствующей литературной школы, а органическим продуктом самой жизни, она была пережита, выстрадана автором. Он заплатил ею за все те «мильоны терзаний», какие причинили ему современники, и поэтому в ней с такой силой, как ни в одном современном ей произведении, воплотился дух времени Грибоедова, все, чем жили и от чего страдали лучшие из окружавших его людей. Но комедия Грибоедова, будучи выражением духа своего века, имеет не одно историческое значение; она до сих пор сохраняет свою современность и, вероятно, как и все истинно великие произведения искусства, в продолжение многих и многих веков, а может быть и тысячелетий, будет представляться отражением страданий и волнений, наполняющих жизнь людей во все времена. Недаром комедия, как только была написана и задолго до появления в печати, сразу сделалась достоянием всей грамотной России. И до сего дня нет человека мало-мальски образованного, который не видел бы ее на сцене и не перечитывал бы много раз, при всяком удобном случае, не цитировал бы из нее массу стихов, вошедших в пословицы и поговорки, не употреблял бы имен действующих лиц ее в качестве нарицательных для обозначения различных категорий людей, встречающихся на каждом шагу. Наконец, до сих пор почти все действующие лица комедии дают каждому мало-мальски

талантливому актеру весьма богатый материал для творчества и трудность исполнения ролей Чацкого, Фамусова, Репетилова, Молчалина, Скалозуба и Софьи так велика, что роли эти, удаваясь лишь очень сильным дарованиям, до сих пор служат прекрасным мерилом для определения величины таланта. Такие крупные артисты, как Щепкин, Садовский, Шумский, Сосницкий, составили себе славу исполнением тех или других ролей в «Горе от ума».

Но замечательно, что при всей популярности, какою пользуется «Горе от ума», до сих пор еще мы не имеем вполне обстоятельной и установившейся оценки комедии Грибоедова – ни в эстетическом отношении, как театральной пьесы, *комедии,* ни в общественном. До какой степени приходится нам путаться в противоречивых взглядах, можно судить, сравнив две выдающиеся характеристики «Горя от ума»: характеристику Белинского и характеристику Гончарова («Мильон терзаний»).

Белинский, разбирая подробно, сцена за сценой, каждый акт комедии, пришел к полному отрицанию ее как комедии, причем нашел, что все развитие действия и любовной интриги крайне неестественно, что личность Чацкого ходульна – он просто крикун, фразер, идеальный шут, на каждом шагу профанирующий все святое, новый Дон Кихот, мальчик на палочке верхом, который воображает, что сидит на лошади, – и что горе его не от ума, а от умничанья. И из всего этого отрицательного анализа знаменитый критик сделал следующий печальный вывод:

«Горе от ума» не есть комедия, по отсутствию, или, лучше сказать, по ложности своей основной идеи; не есть художественное создание, по отсутствию самоцельности, а следовательно, и объективности, составляющей необходимое условие творчества.

«Горе от ума» – сатира, а не комедия: сатира же не может быть художественным произведением. И в этом отношении «Горе от ума» находится в неизмеримом, бесконечном расстоянии ниже «Ревизора» как вполне художественного создания, вполне удовлетворяющего высшим требованиям искусства и основным философским законам творчества. Но «Горе от ума» есть в высшей степени поэтическое создание, ряд отдельных и самобытных характеров, без отношения к целому, художественно нарисованных кистию широкой, мастерскою, рукою твердою, которая если и дрожала, то не от слабости, а от кипучего, благородного негодования, с которым молодая душа еще не в силах была совладать. В этом отношении «Горе от ума», в его целом, есть какое-то уродливое здание, ничтожное по своему назначению, как, например, сарай, но здание, построенное из

драгоценного паросского мрамора, с золотыми украшениями, дивною резьбою, изящными колоннами… И в этом отношении «Горе от ума» стоит на таком же неизмеримом и бесконечном пространстве выше комедий Фонвизина, как и ниже «Ревизора».

Несправедливая крайность такого приговора обусловливается тем, что Белинский в то время, когда писал разбор «Горя от ума», находился в апогее своего увлечения философией Гегеля, судил обо всем книжно, подводя живые факты под отвлеченные философские категории, и, будучи поклонником гетевского «олимпийства» и теории чистого искусства, преследовал всякое живое и страстное отношение к жизни и общественным интересам. Так, он находит, что отношения Чацкого к Софье в продолжение всей комедии крайне нелепы и комичны и не свидетельствуют о присутствии в нем ума. Но как будто умные люди никогда не делают глупостей и нелепостей, находясь в экстазе страсти, мучаясь подозрениями ревности и неизвестностью, разочаровываясь и отчаиваясь. Таково уж искони свойство страсти помрачать рассудок, и если мы вздумаем шаг за шагом разбирать развитие самой, по-видимому, поэтической страсти, вроде любви Ромео и Джульетты, то непременно усмотрим ряд поступков крайне неосновательных.

Не менее несправедливо требовать, чтобы живой человек, исполнившийся негодования при виде окружающей его пошлости и низости, тщательно скрывал это негодование и обращался к окружающим с лицемерно-любезными улыбками на том, якобы благоразумном, основании, что речи его все равно не произведут никакого действия. Дело не в целесообразности обличительных речей, а в причинности, в том благородном чувстве негодования, которое переполняет сердце и не может не вылиться, хотя бы в результате ничего нельзя было ожидать, кроме общего отчуждения, гонений, даже и смерти. В этом и заключается вся поэзия донкихотства Чацкого, просмотренная Белинским.

Критика же Гончарова абсолютно противоположна критике Белинского.

«Давно привыкли говорить, – читаем мы у Гончарова, – что нет движения, т. е. нет действия в пьесе. Как нет движения? Есть – живое, непрерывное, от первого появления Чацкого на сцене до последнего его слова: „Карету мне, карету“.

Это такая умная, изящная и страстная комедия, в тесном, техническом смысле, верная в мелких психологических деталях, но для зрителя почти неуловимая, потому что она замаскирована типичными лицами героев, гениальной рисовкой, колоритом места, эпохи, прелестью языка, всеми поэтическими силами, так обильно разлитыми в пьесе. Действие, т. е., собственно, интрига в

ней, перед этими капитальными сторонами кажется бледным, лишним, почти ненужным.

Только при разъезде, в санях, зритель точно пробуждается при неожиданной катастрофе, разразившейся между главными лицами, и вдруг припоминает комедию-интригу. Но и то не надолго. Перед ним уже вырастает громадный, настоящий смысл комедии.

Главная роль, конечно, – роль Чацкого, без которой не было бы комедии, а была бы, пожалуй, картина нравов.

Сам Грибоедов приписал горе Чацкого его уму, а Пушкин отказал ему вовсе в уме.

Можно бы было подумать, что Грибоедов, из отеческой любви к своему герою, польстил ему в заглавии, как будто предупредив читателя, что герой его умен, а все прочие около него не умны.

Но Чацкий не только умнее всех прочих лиц, но и положительно умен. Речь его кипит умом, остроумием. У него есть и сердце, и притом он безукоризненно честен. Словом, этот человек не только умный, но и развитой, с чувством, или, как рекомендует его горничная Лиза, он «чувствителен, и весел, и остер».

Только личное его горе произошло не от одного ума, а более от других причин, где ум его играл страдательную роль, и это подало Пушкину повод отказать ему в уме. Между тем Чацкий как личность несравненно выше и умнее Онегина и лермонтовского Печорина. Он искренний и горячий деятель, а те – паразиты, изумительно начертанные великими талантами как болезненные нарождения отжившего века. Ими заканчивается их время, а Чацкий начинает новый век – и в этом все его значение и весь «ум».

И Онегин, и Печорин оказались неспособны к делу, к активной роли, хотя оба смутно понимали, что около них все истлело. Они были даже «озлоблены», носили в себе и «недовольство», и бродили, как тени, с «тоскующею ленью». Но, презирая пустоту жизни, праздное барство, они поддавались ему и не подумали ни бороться с ним, ни бежать окончательно. Недовольство и озлобление не мешали Онегину «франтить», «блестеть» и в театре, и на бале, и в модном ресторане, кокетничать с девицами и серьезно ухаживать за ними в замужестве, а Печорину блестеть интересной скукой и мыкать свою лень и озлобление между княжной Мери и Бэлой, а потом рисоваться равнодушием к ним перед тупым Максимом Максимычем: это равнодушие считалось квинтэссенцией донжуанства. Оба томились, задыхались в своей среде и не знали, чего хотеть. Онегин пробовал читать, но зевнул и бросил, потому

что ему и Печорину была знакома одна наука «страсти нежной», а прочему всему они учились «чему-нибудь и как-нибудь» – и им нечего было делать.

Чацкий, как видно, напротив того, готовился серьезно к деятельности. «Он славно пишет, переводит», – говорит о нем Фамусов, и все твердят о его высоком уме. Он, конечно, путешествовал недаром, учился, читал, принимался, как видно, за труд, был в сношениях с министрами и разошелся – нетрудно догадаться, почему: «Служить бы рад, прислуживаться тошно» – намекает он сам. О «тоскующей лени, о праздной скуке» и помину нет, а еще менее о «страсти нежной» как о науке и о занятии. Он любит серьезно, видя в Софье будущую жену.

Между тем Чацкому досталось выпить до дна горькую чашу, не найдя ни в ком «сочувствия живого», и уехать, увезя с собой только «мильон терзаний».

Ни Онегин, ни Печорин не поступали бы так шумно вообще, в деле любви и сватовства особенно. Но зато они уже побледнели и обратились для нас в каменные статуи, а Чацкий остается и останется всегда в живых за эту свою «глупость».

Мы нарочно привели такую большую цитату из статьи Гончарова. Ниже сделаем еще некоторые заимствования из нее, так как она в большей степени, чем все сказанное о «Горе от ума», дает истинное и верное понятие как обо всей комедии, так и о типе Чацкого. Но в статье «Мильон терзаний» есть один недостаток, который Гончаров разделяет с Белинским, несмотря на то, что они отстаивают диаметрально противоположные взгляды. Подобно Белинскому, Гончаров на первый план выдвигает анализ любовной интриги и отводит ему в своем разборе слишком много места, общественной же стороне комедии, составляющей сущность ее, он уступает второе место и говорит о ней вскользь.

Но ведь это все равно, что рассматривать «Гамлета» как изображение любви принца датского к Офелии или в «Короле Лире» главное внимание сосредоточить на анализе любви Корделии и короля французского. Правильно ли изображена и развита любовная интрига Чацкого и Софьи, как полагает Гончаров, или неправильно, как указывает Белинский, – это вопрос такой же второстепенный, как и вопрос о том, в какой степени совершенно нарисован в исторической картине находящийся на заднем плане ее лес. Мы видим, по крайней мере, что и такие великие драматурги, как Шекспир или Мольер, выставляли на первом плане, тщательно вырисовывали и подчеркивали то, что составляет суть пьесы; все же побочные и необходимые лишь для полноты картины черты позволяли себе

обрисовывать лишь общими, едва намеченными чертами.

Если же мы захотим коснуться самой сути комедии Грибоедова, определившей огромное значение ее и то потрясающее впечатление, какое она произвела, то пальму первенства мы должны будем отдать не Белинскому и Гончарову, а, как это ни странно на первый взгляд, – Сенковскому. Много высказал на своем веку вздорных и нелепых суждений о русской литературе знаменитый редактор «Библиотеки для чтения», но по отношению к «Горю от ума» ему удалось сказать весьма умное слово, определяющее значение комедии как нельзя более метко и точно. Слово это появилось в первом томе «Библиотеки для чтения», в 1834 году, по поводу выхода в свет первого издания «Горя от ума». Вот оно:

«Горе от ума», – читаем мы в рецензии Сенковского, – занимает в нашей словесности по своему роду и духу именно то место, которым «Свадьба Фигаро», известная комедия Бомарше, овладела во французской. Подобно «Свадьбе Фигаро», это комедия политическая; Бомарше и Грибоедов, с одинаковыми дарованиями и равною колкостью сатиры, вывели на сцену политические понятия и привычки обществ, в которых они жили, меря гордым взглядом народную нравственность своих отечеств».

Действительно, бывают в жизни каждого общества такие моменты самосознания, когда под влиянием новых идей внезапно освещаются ярким светом все вековые язвы его и обнаруживается вся та возмутительная фальшь и в общественной, и в частной жизни, которая имела место до сих пор, освященная традициями и привычками как нечто незыблемое и даже обязательное.

В такой момент появились как комедия Бомарше, так, в свою очередь, и «Горе от ума» Грибоедова. Постоянно отставая на целые десятилетия, если не на столетия, от Западной Европы, наше общество лишь к началу двадцатых годов, после войны 1812 года, прониклось теми самыми просветительными и освободительными идеями, которые вдохновили Бомарше. Лишь в это время появились у нас новые идеалы, олицетворением которых представляется Чацкий с его горячим патриотизмом в виде стремления заботиться не об одном только эгоистическом личном благополучии, но и о благе и процветании отечества, с его неподкупной честностью, гордым сознанием своего человеческого достоинства и свободою от всяких суеверий, светских предрассудков и стеснительных условий общежития, унаследованных нашим обществом от времен татарского ига, византийства и домостроевщины. Все русское общество, и особенно московское, в котором так много было еще застарелой, заскорузлой азиатчины, разделилось тогда на два лагеря,

исполненных ожесточенной вражды друг к другу. Комедия «Горе от ума» как нельзя более ярко отражает всебе эту взаимную вражду двух лагерей. В этом отношении пьеса Грибоедова не только сатира и комедия, а самая животрепещущая и потрясающая драма, так как она не ограничивается одним изображением и осмеянием современных нравов; на каждой странице ее развертывается роковая и страшная борьба двух стихий: грядущая и только что расцветшая Европа борется здесь с отжившей Азией, свет – с тьмою, святая правда – с возмутительною ложью, благородная гордая неподкупная честность – с ползучею и пресмыкающеюся низостью, свобода и независимость – с раболепством и прислужничеством.

Как Грибоедов, так и все передовые его современники и единомышленники играли роль пионеров, проповедников тех новых просветительных идей, которые пришли к нам в оппозицию заскорузлой азиатчине Фамусовых и Молчаливых, – и они вполне походили на пионеров-новаторов в двух отношениях.

Во-первых, как все такого рода люди, они были горячие и необузданные проповедники своих новых идей, пророки, которые только и делали, что старались при каждом удобном случае «глаголом жечь сердца людей», не обращая внимания на «метание бисера перед свиньями» и на то, какое впечатление и влияние производит их проповедь. Таков и Чацкий – это яркое олицетворение современников Грибоедова. Глубоко заблуждаются те люди, начиная с Белинского, которые видели неестественность и ходульность образа Чацкого в том, что он с первого же появления на сцене и до выхода в четвертом действии только и делает, что обличает, порицает и проповедует, вечно находясь в более или менее взволнованном и приподнятом душевном состоянии. Но ведь Чацкий вовсе не принадлежал к числу тех рассудительных молодых людей, которые, являясь в свет, чтобы блистать и составлять карьеру, знают, когда, кому и сколько следует высказать, а когда – промолчать. Чацкий был именно одним из тех безрассудных проповедников, которые, являясь первыми провозвестниками новых идей, готовы бывают проповедовать даже и тогда, когда их никто не слушает, как это и вышло с Чацким на балу у Фамусова.

И, во-вторых, передовых современников Грибоедова ожидала печальная участь всех пионеров, которые всегда оказываются не только не понятыми и осмеянными практическими мудрецами пошлой рутины, но так или иначе устраненными как люди беспокойные от дел. Последователям всегда приходится идти по трупам предшественников. Все мало-мальски выдающиеся современники Грибоедова, начиная с него самого, так или иначе

ушли из жизни трагически.

Такою же вполне трагической личностью является и Чацкий. Он был не понят и осмеян всеми окружающими его людьми, всем московским обществом. Дом, где он провел все детство, закрыл перед ним двери; девушка, которую он страстно любил, подруга его детства, предпочла ему самого отъявленного пошляка, наконец, все хором признали его сумасшедшим. И разочарованный, отвергнутый, он принужден был искать по свету, «где оскорбленному есть чувству уголок», а далее Бог весть, какая ждала его печальная участь… Этот трагический смысл образа Чацкого отражается и на всех прочих действующих лицах комедии. Как ни осмеивали, как ни отвергали Чацких в эпоху Грибоедова, но пламенные речи их производили глубокое и неотразимое впечатление, и все общество в то время находилось в состоянии сильного возбуждения и брожения. Таким мы видим его и в комедии Грибоедова. Перед нами развертывается картина московского общества вовсе не в будничном, спокойном его прозябании день за днем. Напротив, общество чрезвычайно встревожено, совсем как муравейник, в который бросили палку, – и все в нем закопошилось. И фамусовы, и скалозубы, и хлёстовы, и хрюмины, и загорецкие, и репетиловы – все принялись взапуски рассуждать «о материях важных», – и Белинский совершенно напрасно обвиняет Грибоедова в том, что он заставляет своих пошлых героев Фамусова и Скалозуба изменять самим себе, проговариваться и заниматься самообличениями совсем в духе Чацкого. В такие моменты общественной жизни, какой изображен в комедии, всегда так бывает, что те самые Фамусовы и Скалозубы, которые наиболее восстают на Чацких, сами невольно заражаются от них и начинают обличать всех окружающих, начиная с самих себя.

Имея в этом отношении глубокое и важное историческое значение, так как ни в одном произведении того времени не изображено русское общество двадцатых годов с такой типической полнотой и разнообразием, с выявлением основных мотивов общественной драмы, совершавшейся на глазах Грибоедова, – в то же время комедия Грибоедова имеет и глубокое общечеловеческое значение для всех стран и времен, так как трагедия первых пионеров в лице Чацкого вековечна и неизменно повторялась с каждым новатором, как совершенно справедливо замечает Гончаров, к которому мы вновь возвращаемся в заключение нашей характеристики «Горя от ума».

«Чацкий, – говорит Гончаров, – неизбежен при каждой смене одного века другим. Положение Чацких на общественной лестнице разнообразно, но роль и участь все одна, от крупных

государственных и политических личностей, управляющих судьбами масс, до скромной доли в тесном кругу.

Всеми ими управляет одно: раздражение при различных мотивах. У кого, как у грибоедовского Чацкого, – любовь, у других – самолюбие или славолюбие, – но всем им достается в удел свой «мильон терзаний», и никакая высота положения не спасает от него. Очень немногим, просветленным Чацким, дается утешительное сознание, что они недаром бились – хотя и бескорыстно, не для себя и не за себя, а для будущего и за всех, и успели.

Кроме крупных и видных личностей, при резких переходах из одного века в другой, Чацкие живут и не переводятся в обществе, повторяясь на каждом шагу, в каждом доме, где под одною кровлей уживается старое с молодым, где два века сходятся лицом к лицу в тесноте семейств, – все длится борьба свежего с отжившим, больного со здоровым, и все бьются в поединках, как Горации и Куриации, миниатюрные Фамусовы и Чацкие.

Каждое дело, требующее обновления, вызывает тень Чацкого, и кто бы ни были деятели, около какого бы человеческого дела – будет ли то новая идея, шаг в науке, в политике, в войне – ни группировались люди, – им никуда не уйти от двух главных мотивов борьбы: от совета «учиться, на старших глядя», с одной стороны, и от жажды стремиться от рутины к «свободной жизни», вперед и вперед, – с другой.

Вот отчего не состарился до сих пор и едва ли состарится когда-нибудь грибоедовский Чацкий, а с ним и вся комедия. И литература не выбьется из магического круга, начертанного Грибоедовым, как только художник коснется борьбы понятий, смены поколений. Он или даст тип крайних, несозревших передовых личностей, едва намекающих на будущее и потому недолговечных, каких мы уже пережили немало в жизни и в искусстве, или создаст видоизмененный образ Чацкого, как после сервантесовского Дон Кихота и шекспировского Гамлета являлись и являются бесконечные их подобия».

После Грибоедова развитие русской комедии под влиянием Гоголя, а затем Островского пошло совсем по другому руслу, и «Горе от ума» оказывается, по-видимому, совершенно одиноким явлением в нашей литературе, вне школы и последователей. Но это только по видимости. Комедия Грибоедова оставила такой глубокий след в нашей литературе, что еще до сих пор едва только какой-либо писатель вздумает сочинить комедию в стихах об интеллигентном слое общества – он никак не может освободиться от грибоедовского стиля: неизбежно будет подражать и грибоедовскому разговорному языку, и

грибоедовской манере остроумия, с ее поговорками, эпиграммами и каламбурами.

Александр Сергеевич Грибоедов. Гравюра Н.И. Уткин, 1829

notes

Примечания

здесь: частные занятия с небольшой группой студентов *(лат.)*.

приверженцам партии, сторонникам, соучастникам *(Словарь В. Даля)*.

лучше поздно, чем никогда *(фр.)*.

4

Бесчастный – тот, кому нет части, доли, удела *(Словарь В. Даля)*.

«увеселительной прогулки вчетвером» *(фр.)*.

Позвонок – колокольчик *(Словарь В. Даля)*.

7

Агач – закавказская путевая мера, час; пеший агач – четыре версты, конный – семь *(Словарь В. Даля)*.

8

«Это безумства Александра» *(фр.)*.

9

Вот что называется жертвовать в угоду моменту *(фр.)*.

рыцарь Байар *(фр.)*.

болтливый рыцарь *(фр.)*.

король Баварии *(фр.)*.

король болтунов *(фр.)*.

замысловатые пустяки *(лат.)*.

15

Господин слишком проницателен (слишком персиянин) *(фр.)*.

16

Как прекрасно, как великолепно *(фр.)*.

17

Леночка-жена Ф. Булгарина.

18

Пойдемте со мной, мне нужно вам кое-что сказать *(фр.)*.

19

Ахун – мусульманский богослов, ученый, более чтимый мулла *(Словарь В. Даля)*.